

Галина Скворцова (Алина Скво)
Нерекомендованное чтение
Повесть

Посвящается моим бесконечно любимым дедушке и бабушке – Александру Ефимовичу и Полине Васильевне Скворцовым, которые вложили в меня основы воспитания.

Тоннель был не узким и не широким. Он являлся совершенным в строительном плане подземным коридором, словно специально созданным для любителей прогулок в стране Агарты. Дорожка из речного песка утрамбовалась до паркетного блеска бесчисленным количеством башмаков. По обе стороны от нее пенилась сгущенная зелень можжевельника. Свод покрывали затейливые изразцы, отливающие драконьей чешуей. Жуки, бабочки, птицы проносились с жужжанием, мельканием, свистом и уханьем крыльев.

Тринадцатилетний увалень, ученик 7-го «А» класса Алексей Лоханкин, увлеченный перспективой яркого свечения в конце тоннеля, торопился к выходу, ожидая чуда. Каково же было его разочарование, когда манящий, густой, подобный коровьим сливкам свет на поверку оказался тривиальной, как подсиненная простынь, плоскостью!.. При ее разглядывании Леша прямо перед своим носом увидел прямые линии и углы, в одном из которых застрял крошечный, с маковое семя, паучок.

Шаря перед собой взглядом, подросток никак не мог определить, где находится. Он этим так озадачился, что от напряжения у него защекотало в носу. Лешка принялся тереть пятак пятерней и вдруг обнаружил, что не видит собственной руки. Зажмуривая по очереди глаза, он безуспешно силился лицезреть свой орган обоняния. Затаив дыхание, Лоханкин посмотрел вниз, на ноги. Ног не было.

«О, черт! Так вот вы какие – деменции», – подумал подросток и усиленно завертел головой, пытаясь сбросить морок. С молитвенной надеждой он воззрился вверх, туда, где, по его представлению, обретался его личный ангел-хранитель. Лешка увидел над собою не одного, а множество ангелов в белых одеждах, но без крыльев и головами вниз. Они сияли, как сахарные головы, а на койке перпендикулярно к ним возлежало нечто совершенно непонятное.

Обернувшись вокруг своей оси, Лоханкин расположился поудобнее, чтобы наблюдать действие и иметь возможность оценивать происходящее более или менее реально. Картинка с ангелами тоже перевернулась и приняла естественное положение. Мальчишка обнаружил, что висит, словно дирижабль в небе, под самым потолком до противного белой комнаты. «Любопытно, кто эти снеговики? А-а-а... по всему видать, врачи. Интересно узнать, что это за предмет валяется на кровати?.. О! Так это какой-то чел, а не предмет. Где-то этот фейс я уже видел».

Малец напрягся, снова почесал нос, уже не обращая внимания на отсутствие онога, как и конечности. Он вытянул шею (которой тоже не было), прицельно взгляделся в лицо болящего и... оторопел. Больничный саван простыни и разнокалиберные шланги, змеями впившиеся в тело, не помешали Лоханкину узнать в бледном толстуне самого себя. В этот момент он все вспомнил.

Он вспомнил до мелочей тот слякотный вечер, когда их веселая компашка, состоящая из двух девчонок и трех пацанов, прошмыгнула в проем черной, как эреб, подворотни. Нащупав фонариком ход, ныряющий вглубь, подростки в полном молчании начали осторожное погружение в преисподнюю. Над ними нависали пугающие скелеты вымерших двухэтажек.

Некогда проживающие в них военные офицеры, вольнонаемные лица, рабочие и служащие граждане бывшего Советского Союза разбежались в поисках удачи по городам и весям разных царств-государств. Покинутый ими поселок Горный возлежал в окружении крымских степей на плоской, как блин, земле, чем полностью дискредитировал свое название. Никто уже не мог сказать, кто, когда и по какому поводу дал поселению такое имя, поскольку это было слишком давно, то ли при княжестве Феодоро, то ли при владычестве самого царя Гороха.

В каждую пятницу в прорве поселковых задворков школяры кучковались по самому, казалось бы, благому поводу – обмену книгами. Пробираясь в подвал, они топтались по раскрошенным ступеням и кошачьему дерьму. Вдыхая вонь, нескудная лит-банда опускалась на дно, подгоняемая страстью к печатному слову.

Это были чистенькие и с виду образцово-показательные детки, которых учителя так любят ставить в пример ненавистным двоечникам, тем, кто неуклонно портит цифры преподавательской деятельности, выраженной в денежном эквиваленте. Над головами спящих на переменах недорослей высились фотографические портреты преподавых любимчиков, припиленные к стене учебного заведения под аршинными красными буквами ГОРДОСТЬ НАШЕЙ ШКОЛЫ. То была целая картинная галерея детских смешливых рожц.

Одна из них принадлежала отпрыску иудейского племени по имени Соня Гусман. Девочка была неумеренно красива и столь же сильна в математике. Каждое лето престарелые интеллигенты родители увозили свое драгоценно чадо в Киев к дряхлому профессору, который лепил из нее звезду физико-математического небосклона. За глаза малолетние завистницы называли ее Гусыней, но в глаза – никогда, потому что скатывали у нее домашнее задание по точным наукам почти ежедневно и совершенно безвозмездно. Лоханкин был тайно влюблен в Соню, что тем не менее, не было ни для кого секретом.

Второй портрет представлял луноликую кореянку Зину Ким, известную под псевдонимом Кима. Шустрая девчонка, обладала двумя толстыми канатами кос, парой тонких кривых ножек и фантастической прыгучестью, что дало возможность ее показателям по прыжкам в длину приблизиться к мировым и, несмотря на средние оценки по основным предметам, «примазаться» к школьным гениям. Фото многократной чемпионки республиканского масштаба на фоне дюжины латунных триумфаторских кубков располагалось в разделе «Спортивные достижения».

Мальчик Гоша Азурашвили, среди однолеток называемый сокращенно Азур, относился к потомкам грузинских дворян. Черноглазый и чернокудрый подросток обожал русскую литературу и один из немногих знал по именам всех русских классиков. Но у него не было ни единого шанса стать филологом, так как с пеленок он был благословлен сколь многочисленными, столь и состоятельными родичами на почетный труд винодела. Он был сын не просто винодела, а директора целого винзавода, хоть и небольшого, но зато не потопляемого ни при каких перестроечных катаклизмах и исправно развозившего вино и коньяк из Горного во все четыре стороны Крыма. Ввиду столь веского родственного обстоятельства педсоветом было решено поместить Гошину физиономию прямо в центре «галереи».

Макухин Стас по прозвищу Маг «висел» неподалеку от Азура среди отличников по русскому языку и литературе. Он на целых два года был старше своих друзей семиклашек и опережал их в развитии по всем показателям. Маг имел некоторые экстрасенсорные задатки, литературные способности, определенный опыт взрослой жизни и почти неограниченную свободу. И вся эта лафа ему досталась благодаря немощной бабушке, которая в молодости являлась уважаемой в пэгэтэ интеллектуалкой, красавицей, ведуньей, а сейчас была обычной старушонкой, передвигалась с помощью клюки и до безумия обожала своего ненаглядного внука. Мальчик лишь изредка виделся с родителями, когда они ненадолго приезжали в Горное

из Лиссабона, где зарабатывали свои кровные строительным трудом. Они всегда были озабоченные, удрученные и почти чужие.

Маг был ведущим звеном пятерки, патронировал своих друзей, приобщая их к культурному чтению, и защищал от шпаны. И была эта деятельность для него чем-то смахивающим на складывание пазлов. Он не задумывался над тем, какая получится картинка, но его прикалывал процесс.

Леша Лоханкин, музыкант в третьем поколении, поздний ребенок одинокой мамы, недолгое время откликался на обидную кличку Лох. После победы в минувшем году в республиканском конкурсе «Юный виртуоз» он стал именоваться Пианистом. Лешкин портрет красовался на школьной доске в самом верху, как бы предводительствуя над всеми. Это не клеилось с неуверенным в себе подростком. Но фотограф не догадывался о застенчивости музыкального мальчика, поэтому выхватил из обоймы снимков именно тот, где новоявленный маэстро предстал в самом смелом ракурсе вдохновения с вихрами, торчащими над щекастым лицом, с безумным взором триумфатора под потными очками, с растопыренными пухлыми пальцами, жестоко утопленными в клавиатуре.

Родители, проходящие мимо доски почета, припадали умиленными взорами к этому капищу тщеславия, откуда на них смотрели, смеясь, лики их детищ.

Еще недавно юные любители литературы обменивались книгами на большой перемене в школьном коридоре, разложив художественную литературу на широком подоконнике, как на столе. Но благодаря одной сенсации, в их жизни, как вынужденная необходимость, появился подвал. Окунаясь каждую пятницу в клоаку своего подполья, они тонули в мутной субстанции неподцензурного чтива, от которого сносило крышу. И, как ни странно, в этом была заслуга ... Пианиста.

Алексей Лоханкин, возлюбленный сын добропорядочной матери совершил поступок, равнозначный взрыву атомной бомбы. И если тело малолетки не слишком преобразилось, то душа разлетелась в клочья.

Однажды, когда родительницы не было дома, побуждаемый детской пытливостью, пацан решил выяснить, что лежит на загадочных антресолях. Тот Кутуньо уже много лет строил ему из-под потолка глазки с листа глянцевого плаката, приклеенного к дверцам таинственного вместилища. Аккуратно, насколько это возможно, Лешка отклеил очаровательного исполнителя от крашеной поверхности и разъял фанерный заслон.

Перед юнцом распахнулся настоящий ящик Пандоры, под завязку напичканный книжными брусками разных калибров. Схватив первый попавшийся и кое-как прилепив плакат на место, он слетел сизым голубем с верхотуры и, едва не потеряв очки, кубарем покатился в свою комнатенку – глотать чтиво под названием «Я – Эдичка» Эдуарда Лимонова.

За пару присестов Лоханкин проглотил «Эммануэль» пера Арсан, «Жюстину» маркиза де Сада, «Заводного апельсина» Берджеса, «Интердевочку» Кунина и «Камасутру». После этого у него испортился сон, аппетит и здоровый цвет щёк. К его застенчивости добавились недоумение и испуг. По ночам, словно духи неуспокоенных, к подростку стали приходиться герои романов и проделывать с ним разные штуки. Днем они уходили в свою параллель, забирая с собой часть отроческого сознания и заполняя освободившуюся пустоту послевкусием ночных видений. От этого Леша ощущал в себе разобранность, хрупкую фрагментарность, которую он наблюдал у всех китайских легко ломающихся человекообразных игрушек. И сам он, каждый раз присосавшись к новому роману, видел себя куклой, участником театрализованно-садистской игры, придуманной для него звероподобным Карабасом – одновременно сценаристом, постановщиком и режиссером.

Найденный Пианистом в собственной квартире «клад» книжечками был принят с восторгом. Незамедлительно пришло решение как можно скорей изучить Лешкину тайную библиотеку. А для того, чтобы никому не попасться с компроматом на глаза, место дислокации было найдено такое гиблое, что даже бомжи в него не заглядывали.

В тот фатальный вечер юные интеллектуалы с грехом пополам ощупью разместились в завалах заплесневевшего подвала и притихли. Сбившись в кучу над спаренными яблочными ящиками, ребятня замерла в напряженном, как дверная пружина, ожидании. И вот из разверстого Лешкиного ранца в свете фонариков показались ядерные корешки свежих ядовитых экземпляров экстремальной литературы. Юные читатели, отшвырнув чувство ложной деликатности, которую они старательно демонстрировали в присутственных местах, жадно набросились на ранец и вмиг расхватили книжки, как печеные пирожки.

Гоша ловко выудил «Тропик Рака» Генри Миллера; Кима зацепила «Парфюмера» Патрика Зюскинда; Соня медлительно, но с решимостью потянула томик с надписью В.Набоков «Лолита». Маг, ухмыльнувшись, наклонился к ранцу нехотя. Ему досталась «Пианистка» Эльфриды Елинек. Детские фигурки оживились.

Все принялись листать страницы, отыскивая в них картинки. На некоторое время полутьма наполнилась абразивным шорохом. Своды подвала зазмеились тенями. Пианисту показалось, что из недр вышли тролли, вурдалаки, инкубы и, полные жизни, запрыгали, вождедея запретной литературы.

Шуршание продолжалось минуты три, пока не выяснилось, что ни в одном шедевре нет ни единой иллюстрации. Фотографии авторов тоже отсутствовали.

– Во, блин! У меня нет картинок, – пискнула Кима.

– Аналогично, – отозвался Азур.

Соня и Маг промолчали. Все посмотрели на Пианиста. Пианист посмотрел на Соню. Он сказал, меняясь в голосе:

– Ведь я уже объяснял, что в данной печатной продукции не может быть картинок, потому что она предназначена для взрослых, – и вспотел сильно, но в темноте незаметно.

В ответ девочка поглядела на Пианиста так, словно перед нею сидел не малолетний толстун с запершими очками на кнопочном носу, а настоящий мужчина – парашютист, дайвер, всадник на коне, альпинист, Бэтмен и Шварценеггер в одном лице. «Подумать только! Леша Лоханкин читает взрослые книги! А ведь он и впрямь небезынтересный кадр, стоит на него обратить внимание. Честно говоря, все эти приглашенные хорошисты предсказуемы и одномастны, как клоны. То ли дело Алексей! Личность неординарная и развитая не по годам – виртуоз, эрудит, утонченный гуманитарий. И ко всему в придачу не выскочка и не хвостун».

Так думал Пианист, надеясь, что эти мысли принадлежат не ему вовсе, а Соне – лучшей девочке на свете. Он даже видел неким третьим глазом, как эти самые мысли стартуют с русской Сониной головы, устремляются напрямик к солнцу и разлетаются по всему свету в виде снежнобелых почтовых голубей с хвалебными панегириками ему – Алексею Лоханкину.

Маг хмыкнул, едко скривив уголок рта. До недавнего времени, пока Лох не стал притаскивать свой чертов баул, доверху набитый самым пре-самым nereкомендованным чтивом, эта малышня слушала только его и буквально заглядывала ему в рот. Он снабжал их книгами, которые представляли для букинистов немалую ценность, поскольку были изданы более полувека назад. Для Мага же они были бесценны.

Эти труды читал и он, и его родители, и многие хорошие люди еще в те времена, когда бабушка была молодою и жила со своей семьей в коммунальной квартире. Многие книги были подарены ко дню ее рождения. Старая женщина рассказывала внучку, кто и когда презентовал ее тем или иным экземпляром, ни разу ничего не

перепутав. Она открывала древний, но всегда подклеенный и подремонтированный том, любовно гладила сухонькой ручкой матерчатую корочку со стертыми уголками и улыбалась, вспоминая друзей, многих из которых уже не было в живых. Потом ведунья брала огромную, размером с добрую сковороду, лупу в резной костяной оправе и, разглядывая фронтиспис, говаривала: «Ну-ка, давай поглядим, какого ты года рождения. Может мы с тобой ровесники? Хе-хе-хе!..»

Маг любил аромат архаики с размытым свинцовым тоном, сочащийся из потертых кремовых страниц. Любил алые вензели заглавных букв, питающие смыслом текст, как вены питают кровью сердце. Любил льняные и кожаные облачения книг, мускусную отдушку переплетов, золотые клейма тиснений. Но больше всего его влекли картинки. Как только он доставал с полки очередное издание для прочтения, то первым делом просматривал рисунки. Иногда, если изображения не нравились, то парнишка отправлял том на место, извлекая другой.

Иллюстрации точно предсказывали Магу, насколько чтение будет для него интересным. Одни – яркие до пестроты, как крестьянский лубок. Другие – настоящие живописные полотна, вернее, их уменьшенные копии на первоклассных глянцевых листах, перемеженных прозрачными перепонками кальки. Третьи – графика – черные силуэты на белом, но тоже красиво.

Потрагивая художественные оттиски нежными, как соски кормилицы, подушечками пальцев, Маг ощущал тончайшую их фактуру. Ему казалось, что от поглаживания краски вспыхивают ярче, исполняясь новыми оттенками и молочной теплотой. От этих касаний в мальчика вливалась особенная сила не равнозначная ни физической, ни умственной, а лишь подобная волшебному сну. И тогда он принимался за чтение.

Он, Стас Макухин, зазывая в удивительный мир литературы своих друзей, приносил им самые лучшие, художественно оформленные экземпляры домашней библиотеки. Так добрый хозяин приглашает путника в собственный дом – теплый, уютный, полный света, красивых старинных вещей и умных книг.

Маг перетаскал им с добрую сотню томов, среди которых – самые любимые: «Старая крепость», «Хижина дяди Тома», «Принц и нищий», «Остров сокровищ», «Два капитана», «Пионеры», «Любовь к жизни», «Всадник без головы», «Человек-амфибия», «Ундина», «Маугли» и «Педагогическая поэма» Макаренко. Он давал им читать сказки – русские, украинские, белорусские, узбекские, индийские, скандинавские и, конечно, сказки Пушкина. После школы, Стас водил семиклашек в одичавший каштановый парк. Там, в ветхозаветной беседке, он делился с ними, как государевой тайной, смыслом прочитанного. Он... теперь он стал им не нужен, потому, что у них появилось нечто такое... такое... какое даже показывать нельзя.

Маг встал. Он, как сложенный вдвое походный нож, пружинисто развернулся в немалую свою длину и проткнул остриями плеч и локтей тугой сумрак подвала. Его тень упала на потолок и нависла над четырьмя скученными вокруг фонариков живыми комочками, безобразно и пугающе корчась.

– Ну, ладно, пойду я. Бабушка меня ждет, – сказал Маг, нацеливаясь на выход.

Комочки вспыхнули оживлением, обнаруживая готовность вскочить и разбежаться по домам, как то и надлежит благовоспитанным детям.

Неожиданно Пианист громко воскликнул:

– Подождите! Еще не все. Я не показал вам самое главное.

От неожиданности все замерли и немо уставились на Пианиста. Еще бы! Впервые они услышали настоящий голос этого тюфяка, в котором гнусная свистулька выдавала мутацию связок. При этом Соня смотрела на Лоханкина, как ему показалось, выразительнее всех.

Леха быстро погрузил в ранец руки по самые локти и принялся тащить нечто такое, что не желало вытряхиваться по-доброму и поскуливало при каждом движении.

Азур, схватив лямки, резко их дернул. Котомка, взвизгнув, свалилась под ноги и сдулась. В руках у Лешки оказался вековой пудовый фолиант, весь упакованный в темный лоснящийся сафьян. Под лучами фонариков переплет вспыхивал позолотой орнаментов, петроглифов и рун. На обложке зеленела патиной чеканная медь окантовки и шлевок, которые и издавали щенячи звуки.

– Секи какая цацка! Пацы, я такой офигенной хреновины никогда в жизни не видел! – возопил в полной тишине Азур.

– Мы с Соней – не пацы! – возмутилась Кима.

– Пардон... Пацы и... барышни, – соксюморонил будущий винодел и протянул руку к диковине, – А ну, давай, Пианист, позырим, что это за книжонка, – пошутил Гоша вполне неудачно.

– Ой! Какие у нее козырные примочки! – восторгнулась Кима, тыча обгрызенным ногтем в чеканку.

Последовавшая реакция Лоханкина была замечена всеми, в особенности, Магом. Под испытующими взглядами товарищей Леха подскочил и стал, вцепившись в предмет восхищения, готовый на все, словно держал гранату с выдернутой чекой.

Лишь бросив взгляд на раритет, Стас сразу догадался, с чем они имеют дело. Он различил на корочке символы классической магии, те самые, которые видел в трактатах, хранящихся в бабушкиных шкафах. Чуть ли не ежедневно он втихомолку штудировал старославянский шрифт, впитывая тайные знания с жадностью алкоголика. Прознав о несанкционированных деяниях внука, многомудрая чернокнижница даже не пыталась прятать ведовские письмена, зная, что запретный плод особенно сладок. Она лишь постоянно повторяла своему внуку одно и то же, как заклинание.

– Станислав, ты уже большой мальчик, поэтому должен хорошо понимать, что магия – это не детская забава. В руках дилетанта она может стать оружием самоуничтожения. Твердо помни это и никогда не совершай магических обрядов. По крайней мере... пока не дорастешь до мастера.

И Стас твердо следовал бабушкиным наставлениям. Некоторые мантры он все-таки читал, когда предстояла встреча со сворой одичавших собак или требовалось отсидеть целый час под самым носом учителя незамеченным. Иногда с помощью бабушкиного хрустального шара он заглядывал на пару дней в будущее. Но и только. Маг до чертиков боялся хоть на сантиметр глубже заглянуть в непредсказуемую бездну параллельного мира...

– Маг, зацени! – ошалевал Азур, – Эта фиговина может, как ты выражаешься, доставить нам большое эстетическое удовольствие!

– Кончай понты колоть. Это тебе не журнал «Крымуша». Тут черная магия, куда ни кинь. А я с нею не дружбанюсь и вам не советую. Врубаетесь?

– Маг, хорош выёживаться! Твои закидоны – беспонтовые, – встряла Кима, – Будь проще, и к тебе потянутся люди, – добавила она, съязвив.

– Не-а. Уже не потянутся, – отбрил ее Маг.

– Та шо ты гонишь?! Типа, ты козырный перец, а мы все – лохи. Все будет чики-пуки, – выразился Азур беззлобно. Он по-скоморошьи лыбился и корчил морды, пытаясь смягчить Мага. Но тот был неуклонен.

Пианист, ослабившись и не мигая, как зомби, протянул книгу Стасу. Тот инстинктивно отшатнулся, сделав вид, что не заметил Лешкиного жеста, коротко крикнул «пока» и тут же испарился. Вынырнув на поверхность, Маг помчался прочь от треклятого подвала, обжигаясь мокрым ветром. Всю дорогу он испытывал острое желание вернуться и отнять у этих малолетних недоумков опасную книгу...

...Болтаясь где-то между полом и потолком реанимационной палаты, Пианист мучительно пытался отхронометрировать воспоминания трагедийного финала того злосчастного вечера, когда он осмелился самолично исполнить чернокнижный обряд.

Отрывки происшествия, словно игральные карты, перетасовывались, мелькали, сами выпадали из колоды и укладывались в цепочку отдельно взятых картинок.

Картинка первая. Лешка открывает книгу и читает текст, напечатанный империалом: «Тот, кто хочет получить храбрость, силу, мудрость, защиту от злых сил и неограниченную власть должен сделать следующее; начертать пентаграмму, заключить ее в окружность и произнести заклинание...»

Картинка вторая. Пианист стоит на возвышении, выстроенном из хлипкой фанерной тары. В его высоко поднятой руке зажат лист 4- А с толсто начерченной рогатой звездой. Он, как заевшая виниловая пластинка, талдычит абракадабру: «Эм-пехе ар-зел га-и-ол...» Семиклашки, замерев, тупо смотрят на Леху. Через минуту Кима с круглыми глазами истошно вопит: «Эй, покимоны, что в штаны наложили!? Или вы не экстрималы?! Приветствуйте вашего лидера!» Она начинает бить в ладоши и приплясывать, выкрикивая заклинание. Азур хватает камень и одурело лупит им по какой-то железяке, вторя Киме. Соня стоит с открытым ртом и просветленно смотрит на Пианиста.

Картинки надолго застряли в колоде, не желая показываться. Потом медленно легла третья по счету. На ней Лоханкин видит Соню. Совершенно неожиданно для него, она смотрит ему в глаза взглядом призывным и почти вождедеющим. Почти как в той передаче с красным квадратиком в правом нижнем углу, которую в последнее время стали показывать вместо обязательных мультиков в шестнадцать тридцать. Там голая телка стоит на четвереньках задом вперед и, оттягивая указательным пальцем стринги, двигает вверх-вниз тазом, томно косится на зрителя и по-коровьи облизывает клубничным рот...

...От этой картинки Лоханкин, зависнувший прямо над головой толстой медсестры, вштыривающей ему в руку иглу, ощутил знакомую тягучую сладость внизу живота и привычно потянулся к мошонке, забыв об отсутствии оной. Его подростковую забаву неожиданно прервала очередная картинка такая яркая, словно включили люстру в сто ламп. Сознание Лоханкина помутилось...

...Вот он, Пианист, стоит на высоченной горе в лучах заходящего солнца. Где-то внизу удивительно стройно и проникновенно звучит Лакримоза Моцарта в совместном исполнении Краснознаменного ансамбля имени Александрова и большого хора мальчиков. В небе гремит триумфальный салют и опадает на землю розовыми бутонами. У подножия горы скачут три камлающие фигурки. Они гремят тамбуринами и скандируют осипшими голосами магическое заклинание. Ото всюду к горе движутся и перемешиваются между собой огни. Это – глаза диких зверей и факелы в руках людей. Львы, тигры, слоны, олени, обезьяны, анаконды приближаются и замирают, подобострастно распластываясь под взором своего властелина – Алексея Лоханкина. За ними следуют одноклассники, их родители, училка по фо-но, пьяный дворник Кузьмич, класснуха Маруська в офигенном декольте и юбке, слегка прикрывающей зад.

Директриса размягченно, как гнилой арбуз, катится самая последняя. Утонув в толпе, она пролазит вперед и взмахивает факелом. Все валятся на колени и, блестя в свете огней марионеточными, словно навощенными, лицами, вопят: «Алексей Лоханкин, ты – наш повелитель! Делай с нами все, что тебе угодно!»

Пианист в упоении взирает на окрестности, погруженные в зелень трав и деревьев. Река широкая, как небо, и длинная, как вечность, течет неведомо куда. Птицы нимбом кружатся над Лехиной головой, под его ногами – море из плоти и крови. Он истошно орет, скрежеща зубами и потрясая кулаками:

– Вот вы где у меня! Вот я вам!

– О, господин! Пощади нас! – рыдает человеческое стадо, заглушаемое воем зверей.

Возвышаясь над всем миром в лучах заходящего солнца, Лоханкин с наслаждением рисует себе кровавые сцены расправы со своими обидчиками, всеми, кто

обзывался, деньги отнимал, кто отметки ставил несправедливо, кто заставлял Шостаковича учить, кто метлой замахивался, кто у мамы деньги вымогал на ремонт школы... Все, что он прочел в газетах, журналах и книгах, что видел в американских боевиках, в Новостях и в жуткой передаче про криминал с ведущим Стогнием – все это он быстро сгребает в кучу и поджигает, как инквизиторский костер.

Заходящее солнце, вздрогнув последним лучом, меркнет. Факелы гаснут, и становится совершенно темно и тихо. Вдруг, у подножья горы раздается звериный рев и человеческий вой. При слабом отсвете Млечного Пути не на шутку струхнувший Лоханкин с трясущейся брыжейкой и расходившимися коленками вперивается во тьму. Он пытается рассмотреть, что делается у основания его пьедестала. Взгляд сам собою падает вниз, и он видит, что стоит не на величественной горе, а на гигантской куче человеческого черепов. В ужасе он орет, срывая голос, и летит головой вниз в какую-то шахту без дна. Следом за ним скачут черепа, щелкая челюстями и впиваясь ему в мягкие части тела. А где-то рядом раздается сатанинский хохот бафомета и свист его черного плаща. Когда кажется, что сердце разорвалось в клочья и смерть уже наступила, Пианист слышит в голове щелчок некоего тумблера, после чего мгновенно оказывается вне всякой опасности в живописном тоннеле с ярким светом в конце него...

...После первого потрясения и обнаружения себя в больничной палате Лешка Лоханкин открыл новые свойства своего существа. С радужным чувством он колесил вдоль и поперек стерильного больничного пространства. словно персонаж перевернутых картин Яцека Йорки, он истоптал по стенам и потолку все диагонали и параллели. В состоянии абсолютной эйфории он впал, когда понял, что умеет парить в воздухе и попадать куда угодно через какие угодно препятствия совершенно безо всяких усилий. Но вскоре его радость вытеснилась смертной тоской.

С недоумением взглянув в белое, как у гейши, лицо своего второго, вернее, первого Я, Лоханкин для начала отправился прогуляться по больнице. Проходя сквозь стены, предметы и людей, он проник в палаты, приемную, больничную столовую, отделение скорой помощи, реанимацию и даже операционную. Повсюду его преследовал занозистый запах хлороформа и саднящие душу картины людских мучений. Он видел не вполне живые тела с мертвыми лицами. Страдальцы валялись по пять-шесть человек в одной палате, как колоды. У одних была ампутирована нога. У других из голых животов торчали трубки для отвода мочи, желчи или кала. Третьи без видимых повреждений лежали трупами на провисших панцирных кроватях. Изредка кое-кто поднимался со своих одр и полз по коридору.

Лоханкин видел людей в белом, деловито снующих повсюду и ловко производящих разнообразные манипуляции над болящими, словно то были не люди, а предметы производства, подлежащие вытачиванию, починке, компоновке и крепежу при помощи болтов, сварки и кувалд по технологическим стандартам и чертежам.

Проникнув за стены реанимации и операционной, Лешка не смог ни на шаг продвинуться вперед. Небесная сила очертила пяточок ойкумены для беспомощных тел, временно покинутых душой, и самолично защищала их от вторжения извне чего бы то ни было. В морг Пианист не пошел – страшновато. Но он видел, как четверо здоровенных медбратков в халатах подвезли к «парадному» крыльцу мертвецкой каталку, укрытую белой простыней, из-под которой торчали голые зеленоватые ступни. А в это же время с противоположной стороны морга, от черного его входа четверка таких же накачанных ребят, но уже в джинсе и берцах понесла к катафалку увесистый нарядный гроб с белыми кружавчиками. Пианисту это напомнило телесюжет о производстве полуфабрикатов. На входе – неприглядное сырье, на выходе – упакованный продукт.

Пианист – тепличный цветок, музыкально одаренный ребенок с тонкой нервной организацией – угрюмо бродил больничными коридорами никем не замечаемый. Его преследовали видения человеческих ран. Впервые он столкнулся лицом к лицу с болью, страданием и смертью. Сам он находился между небом и землей и не совсем понимал, что с ним происходит. Парнишка надеялся, что это всего лишь кошмарный сон, что проснувшись утром, он помчится в школу, на ходу чмокая в щеку маму и прихватывая со стола пару учебников. Он, как обычно, отправится туда, где его ждут друзья, увлечения, книги. А потом сон забудется, и его подростковая реальность обретет прежние прочные очертания. Но внутренний голос сказал ему совсем другое: «Леха, ты изрядно набедокурил, и теперь только одному Богу известно, что с тобой будет дальше, – помолчав, голос жалобно добавил, – Бедная-бедная твоя мама...» Мальчонка горько заплакал, не имея шанса ни заявить о себе, ни хотя бы утереть слезу.

Лешка не успел отойти в сторону, когда вынырнувшая из-за угла бригада скорой помощи, облепив каталку с окровавленным мужчиной, пронеслась сквозь него. Истерично крича и гремя, все скрылись в операционной. Проводив их задумчивым взглядом, Лоханкин услышал рядом, за дверью сортира, тихие стоны. Минувя перегородку, он увидел на унитазах всем телом дрожащего от слабости старика, совершающего безуспешные попытки подняться на тонкие журавлиные ноги. Леша потянулся к страдальцу, чтобы помочь. Тут он выяснил для себя, что ровным счетом ничего не может, так как является бестелесным духом, призраком и более ничем. Скорбно вздохнув, он отвернулся от бедняги, бесшумно отделился от пола и, с надеждой глядя в небо, полетел прочь от этого смрадного вместилища человеческих трагедий...

...Трансцендентный полет Пианиста в пэгэтэ Горном не был встречен ни восхищением прохожих, ни ликованием природы. В округе не наблюдалось ни солнца, ни снега, ни чего-либо радостного. Слякотный, мерзкий, как чесотка, зимний крымский день медленно полз к полудню. По городским маршрутам без энтузиазма катили чумазные авто, беспардонно брызгая дорожной грязью в пассажиров, пригвожденных холодом к остановке. Темные фигурки, что стояли у обочины дороги, сливались с моросью и горбили от холода спины. Многие, понукаемые желанием отделаться от дождя, неслись стремглав. Зонты, как летучие мыши расправляли крылья и садились на головы торопыг.

За неделю до конца двадцатого века человечество металось в ожидании апокалипсиса. Тысячелетние предсказания пророков были свежи, как никогда. Прогноз надвигающихся катаклизмов при всем том не умалил традиционной предновогодней суеты. Напротив, Горный заранее принципиально ошетинился небывалым количеством искусственных елей, из-за отсутствия средств украшенных силами патриотов – скромно. Рядом с малочисленными стеклянными шарами красовались самодельные гирлянды из лампочек Ильича, бумажные фонарики, пластмассовые цветы и пучки медицинской ваты, от чего новогодние красавицы имели буквально «мокрый» вид.

Люди в ажитации сновал без цели и без денег, запутавшись в сетях постперестроечного хаоса. Ноги несли их куда бы то ни было, так – на что-нибудь поглядеть. Дурацкие плакаты с начертанием «С Новым Годом! С новым счастьем!» были теперь вовсе не такими уж дурацкими. Они, словно советские транспаранты, лезли ото всюду в глаза и оседали золотыми крупницами стабильности в сознании обывателей. Автобусные остановки и сами автобусы, окна и фасады домов, доски объявлений и столбы бодрили этими традиционными новогодними лозунгами всевозможных форматов и цветов. Группа малолетних хулиганов присовокупляла к плакатам красной акварельной краской АМИНЬ! Старушки, наблюдая это безобразие, пускали в платочки слезу и тихим шепотом благословляли малышню.

...Алеша реял где-то выше вальжного дымного хвоста кочегарки, доедающей скудный лимит угля на декабрь месяц. Восторгаясь своей невесомостью, семиклассник оглядывал город, топорщивший из уютной ложбинки наперсточного скверика кипарисы, как иглы бдящий о своей безопасности дикобраз. С зоркостью стрижа мальчик созерцал залатанные крыши промокших зданий, островки шербатого асфальта, эллипсы голых клумб, пестроряденные от разноцветья машин автостоянки и прочую топографию, угнездившуюся в черной метелочной гуще деревьев и кустов. Лоханкина забавлял муравьиный бег граждан по ниточкам тротуаров мимо гнойных прыщиков урн, матрешечного нутра витрин, лысых платанов, кишок водоотводов с выползающими из них дождевыми червями струй. Двери казенных домов, разнокалиберных забегаловок, парикмахерских, магазинов клацали, как хлебoreзки, и отсекали ломтики мгновений, то проглатывая, то выплевывая посетителей.

Пофланировав над поликлиникой, копящей болячки пациентов в старинном здании с колоннами, когда-то принадлежавшем неким мелкотравчатым буржуям, Пианист миновал рыночное стойло с многочисленным поголовьем торговых палаток, навесов, лотков и бутиков. Потом он пролетел над одичалым каштановым парком с подшерстком поросли, единственной трухлявой беседкой и множеством пней в окружении белых вылупков грибов.

Дальше его путь пролегал мимо устрашающих конструкций высоковольтной подстанции, гудящей, как взбешенный пчелиный рой. Проплывая над отдаленным пустырем, где летом мальчишки гоняют мяч, Алеша увидел великолепно, лоснящегося под дождем черного аписа. Хозяин выгнал бычка на ядреную отаву, подросшую, как это обычно бывает в Крыму, к Новому году. Безо всякого интереса Лоханкин проскользнул над игрушечным винзаводом, приземистой аптекой в два окна, солидным отделением связи, оцинкованным куполом наперсточной церквушки, казематами профтехучилища, грандиозными по масштабам и столь же грандиозно пустыми двухэтажными стеклянно-бетонными строениями Дома Культуры и Дома быта.

Неожиданно вниманием Пианиста завладел полуразрушенный летний кинотеатр. Под крышей сцены прижился целый рассадник временно пустующих ласточкиных гнезд, напоминающих пещерные мини-рынды. В обсыпавшемся дырчатом ракушечнике стен пролегли дромосы. Пара несущих опор, сохранившихся от рухнувшего задника, высилась, словно менгиры, в память о цивилизации, в прошлом известной как Советский союз.

Лешкин энерджайзер заработал в авральном режиме, когда заметил скачущего по лужам знакомого мальчика со скрипкой. По всему было видно, что он торопится в музыкальную школу, и настроение у него мажорное, невзирая на непогоду. Компактный футлярчик весело приплясывал в его руке, и скрипочка легонько погромыхивала. Пианисту до смерти захотелось прикоснуться к немым костяшкам своего фортепиано, оживить их силой мышечного напряжения рук, услышать звуки, синтезированные из немыслимого смешения нот, эмоций и нетленного таланта композитора.

В этот миг он не обижался на свою толстозадую, толстопалую и толстошкурую училку по фо-но, которая заставляла его разучивать какофонические шедевры Шостаковича, насилуя тем самым абсолютный слух юного дарования во благо своей карьеры препода. Ведь были и красивые вещи в его ученической программе, например, багатель «К Элизе» Бетховена, которую Пианист всегда посвящал только одной девочке на свете – милой Соне. Образы любимых композиторов – Моцарта, Бетховена, Баха, Вивальди, Чайковского, Листа, Рахманинова, Паганини, Сен-Санса, Скрябина – на время завладели его мыслями. Это их произведения он с наслаждением разбирал, заучивал и исполнял. Невероятные истории их жизней он многократно перечитывал, пристально вглядываясь в высокородные лики гениев на фотографиях и литографиях.

Теперь они были от него далеко, а их волшебная музыка молчала. Леша тяжело вздохнул...

...Левитируя в заоблачной выси над городом, то поднимаясь, то опускаясь, как на морских волнах, Пианист на гребне своего взлета зацепил взглядом мертвечину степи, размежеванную вдоль и поперек пунктиром лесополос. В степной шири, словно прочерченная под линейку, пролегла кишачья автомобилями дорога, связывающая Горный с центром цивилизации. Параллельно ей семенила и взвизгивала зурной, словно от боли, одинокая, как и он сам, сороконожка вагонного состава. Ему стало жаль «сороконожку». Но, не успев хорошенько ей посочувствовать, он, подчиняясь инерционному закону, опустился в нижнюю точку траектории, как раз напротив девственно-белого здания библиотеки с черными кружевами кованых лестничных перил, балконов и лоджий.

Это было любимое место пребывания семиклассника. Когда-то здесь жила некая особа из купеческого рода. Теперь здесь работала Лешина мама, которую, как он догадывался, очень сильно огорчил. Пианист, словно наяву, увидел ее со стопками книг передвигающуюся узкими лабиринтам стеллажей. Вот она разбирает поступления новых изданий, заполняет читательские формуляры, отвечает на вопросы посетителей. А по лицу ее текут слезы. Лоханкин снова заплакал сухим беззвучным плачем.

В своей памяти он любовно, будто драгоценные камни в пальцах перебирал эпизоды о своих посещениях библиотеки, где его принимали, как родного. Эти воспоминания согрели и успокоили его, точно теплое молоко на ночь.

Он обожал этот основательный двухэтажный дом с мягкими ковровыми дорожками, царственными люстрами, книжными полками до небес, беломраморными колоннами, которые так любили подпирать студенты. Ему нравилась особая тишина просторных комнат, где не было слышно ни шагов, ни разговоров, а только разреженный шорох страниц. Когда сумерки за окном постепенно загустевали, как черничное варенье, он вглядывался в читательские лица. В электрическом свете они становились загадочными и, словно портреты фламандских художников, светились прозрачным фарфоровым величием.

Леша с удовольствием помогал маме расставлять книги по шифру ББК. Ему нравилось отправляться с исключительными заказами в книгохранилище и там наблюдать, как сотрудница библиотеки, включая свою блистательную память, быстро отыскивает редкий экземпляр. Он любил извлекать информацию о том или ином сочинении, перебирая каталожные карточки, нанизанные для сохранности на железные анkers и расположенные в длинных узких деревянных ящичках, пахнущих почему-то прошлогодней соломой. Он обожал рыться в книгах, неизменно увлекаясь чтением, оторваться от которого не представлялось для него возможным. Чего здесь только не было! И фантастика, и приключения вместе с путешествиями, и история, и наука. Лешка проглатывал все подряд, не утруждаясь перевариванием.

Когда его просили, он беспрекословно заполнял читательские формуляры в детской библиотеке, расположенной в этом же здании на втором этаже. В листки песочного цвета, внутрь которых медицинским почерком, не поддающемся расшифровке, были внесены записи о выдаче и возвращении книг, следовало вставить дополнительный листок с оглавлением «Рекомендованное чтение». Леше, как семикласснику, поручали заполнять такие листки своим однолеткам. Стараясь красиво писать, он, закусив нижнюю губу, усердно выводил по пунктам: 1. Героический эпос народов. 2. М. Ломоносов «Восшествие на престол императрицы Елизаветы Петровны». 3. Р. Бернс «Честная бедность». 4. Байрон «Стихи». 5. А. Пушкин «Станционный смотритель», «Метель», «Узник», «Кавказ». 6. М. Лермонтов «Песня про купца Калашникова», стихи. 7. Т. Шевченко «Тарас Бульба». 8. И. Тургенев «Бирюк». 9. Н. Некрасов «Русские женщины». 10. А. Чехов «Хамелеон». 11. Э. По «Лягушонок». 12. О. Генри «Дары Волхвов». 13. Конан Дойл «Пестрая лента». 14. И. Бунин «Цифры». 15.

А.Платонов «Юшка», «Корова», «Песчаная учительница», «Неизвестный цветок».16. К.Симонов стихи.17. А.Алексин «В тылу, как в тылу».18.Ф.Абрамов «О чем плачут лошади?».19. А.Сент-Экзюпери «Маленький принц».20. Д.Олдридж «Последний дюйм».21. А.Распутин «В ту же землю».

Все рекомендованное чтение Алексей Лоханкин давно прочел. Ему всегда было мало книг и времени для чтения. Он читал днем и ночью. Чтобы не волновать маму Пианист, сидя за письменным столом над учебником прикидывался, что делает уроки. А на самом деле, мальчишка проглатывал очередную книгу, которую держал в приоткрытой шухлядке. Ночью же, накрывшись одеялом, он включал фонарик, и чтение продолжалось...

...Впервые за последние несколько лет Лоханкину захотелось в школу. Ее трехэтажное здание, скроенное по казенному образцу, располагалось в самом центре поселковой цивилизации. Каждые сорок пять минут краснокаменное строение взрывалось гвалтом и вскипало бешеным потоком учащихся. Выскакивая на переменке за пирожками и сигаретками в близлежащие забегаловки, малышня и те, кто постарше, сыпались прыгучими ртутными шариками в аккурат под автомобильные колеса частников, чьи дворцеподобные «хатынки» кольцом окружили детское учебное заведение.

Время было послеобеденное. Последний во второй учебной четверти, замечательный во всех отношениях пятничный день приближался к концу. Проникнув сквозь стены, Лешка не встретил никого, кроме зевающего патлатого старшеклассника с красной повязкой на рукаве, который от скуки раскачивался на ножках скрипучего стула. Пролетев хорошо освещенный и изукрашенный потешными новогодними плакатами предел младшеклассников, он юркнул на второй этаж, туда, где размещались средние классы.

Лоханкин преодолел тюремную темень коридора с плазмоидами лампочек под потолком и выплыл в огромный, как футбольное поле, холл, наводненный серым зимним светом, хлеставшим из саженных окон. Из дальнего угла зала, по периметру которого казенным фисташковым колером была замалевана нижняя половина стен с множеством равноотстоящих друг от друга двустворчатых дверей, доносился писк и рык ломких подростковых голосов: «Ще нэ вмэрла Украина, ни слава, ни воля, ще нам браття молодийи, усмихнэться доля! Душу й тило мы положым за нашу свободу и – покажем, що мы, браття, козацького роду» – доносилось из-за двери истошно и задавленно, словно целое стадо обезумевшего рогатого скота вели на убой. Шел урок пения.

Посмеявшись над гимном Украины, Лоханкин энергично взмыл на третий этаж и направился в класс русской лит-ры. Русиня Анна Петровна, прозванная школьными русофилами Анкой-пулеметчицей или просто Анкой, имела со стрелковым оружием несомненное сходство. Речь ее была чрезвычайно скорой, чем напоминала пулеметную очередь. Училка не пыталась пресечь хамскую возню старшеклассников. Это не имело никакого смысла.

В аудитории стоял громкий шорох или, другими словами, тихий грохот. Ученики извелись, ожидая звонка. В преддверии новогодних каникул они дергались, как собачонки на поводках, с трудом удерживая свои пятые точки на сиденьях. Вертась, переговариваясь, шурша обертками конфет, перескакивая с места на место, мальчишки и девчонки Анку не замечали в упор. Лешка с трудом прислушивался к ответу ученика, стоящего у доски. Отповедь вопрошаемого на фоне назойливого шума показалась Лоханкину бездарной и, в то же время, гармоничной с беспорядком в классе, с невыразительной речью Анки и с ожидаемым концом света. Это был настоящий гимн хаосу.

Старшеклассник старался поразить препода в самое сердце: «С футурологическим предопределением возникающие отдельные эманации в пределах имажинаций фаталиста и бретера Печорина можно предположить, что эклектические его планы относительно Бэлы были релевантны игре с огнем. Учитывая интервенционную политику Казбича, касающуюся морганатических внебрачных отношений вышеназванных особ, жизнедеятельность героини была прервана насильственным методом».

Молитвенно сложив маленькие ладошки с розовыми коготками и закатив небесные глазки, Анка неожиданно медленно, словно в ней сломался пулемет, отчеканила: «От-мет-ка-от-лич-но!» С той же твердостью Галилео Галилей, пройдя допросы святой инквизицией, сказал: «И все-таки она вертится!». Русиня была до мозга костей напоена уверенностью в том, что великий и могучий русский язык был, есть и будет... будет развиваться и продвигаться вперед, в необозримые дали своего прекрасного будущего на модернизированных американских ходулях.

Звонок, которого все так ждали, раздался, по обыкновению, внезапно. Как Лешка ненавидел этот отвратный до судорог в кишках звук! В его голову встрял колом неопиcуемый визг. В нем Пианист физически ощущал средоточие цунами, землетрясения, падения астероида – всех бед мира одновременно. Ему хотелось провалиться сквозь землю, зарыться поглубже от того ужаса, который порождается ничтожной кнопкой, притаившейся, как мерзкий клоп, в куче подсобного мотлоха.

Лоханкин, родившись с абсолютным слухом, на всю жизнь попал в рабство звуков. Некоторые из них, такие как школьный звонок, вызывали в нем страх, панику и тошноту. Их было не так уж много, но пианист ненавидел их всей душой – все сразу и каждый в отдельности. В их числе – диссонирующая мерзость, относящаяся к бензопиле, самолетам, электричкам, военному оружию, собакам, мартовским котам, директрисе и, конечно же, композитору Шостаковичу, которого он ставил на первое место в списке перечисленных.

Но были звуки другие, те, что дарили радость. Эти были для Пианиста родными братьями, он их любил бесконечно и хотел, чтобы они царили всегда и везде. Шепелявое цыканье часов в торжественной тиши полнолуния; чириканье свечка в складках ночной тьмы; тонкое, как паутинка, ми-бемоль в медном раструбе крохотного колокольца на козьей вые; шум дождя, как приглушенные аплодисменты умной публики; долгожданный всплеск открывающейся двери, за которой – мама; птичий грай в каштановых дебрях, что прямо напротив балкона; зов моря, угнездившийся в розовой воронке валютиды; торопливый клекот Сониных туфелек...

Наступила тишина. Она длилась секунд пять, после чего все двери одновременно затрепыхались и захлопали, как белье на ветру. По коридорам с резонирующим ором и топотом понеслась дикая распатланная орда, заливаясь кричалками и крутя по ходу дела финты. Все были одеты демократично, то есть во что попало – джинсы, спортивные штаны, кроссовки и безразмерные свитера до колен. Охваченный всеобщей неумемной радостью по поводу предстоящих зимних каникул, Лоханкин ринулся к своим друзьям, которых нашел подпирающими излюбленный подоконник. Еще не так давно они деловито ерзали по крашеной поверхности локтями, суетились, обмениваясь книгами, и были счастливы.

Но сейчас Соня, Кима и Азур уныло стояли столбами, а Маг нависал над ними коршуном, сверкал глазами и остервенело размахивал кулаками. Лоханкин приблизился, распираемый любопытством. В ужасающем реве до него долетали лишь отдельные слова: «...книга... магия... Лох... обряд... ошибка... табу... трындец... дебилоиды... директриса... педсовет...» В конце маговой речи прозвучало матерное слово. Злобно взвизгнув протекторами ботинок, девятиклассник развернулся на сто восемьдесят градусов и понесся семимильными шагами к выходу. Крючковатая фигура

Стаса быстро удалялась в лавине вопящей детворы, а его голова на длинной шее неслась над живым потоком, размахивая темным платом волос.

Онемевшая троица еще минуту не двигалась с места. Затем, не глядя друг на друга, все побрели в разные стороны медленно, точно опутанные кандалами. Пианист последовал за Соней. Он вертелся вокруг нее волчком, пытаясь заглянуть в опущенные глаза, и когда она простерла перед собою полный слез фиалковый взгляд, он, испугавшись ее страдания, подпрыгнул на месте так, что инерционная сила тут же подбросила его к потолку. Мальчишечье сознание распорола обоюдоострая мысль, и двойственное чувство разделило его сущность надвое.

Одна половина ликовала и млела от счастья, что Соня – самая красивая, самая умная и самая, как теперь выяснилось, добрая девочка в мире – плачет за ним, Алексеем Лоханкиным, который лежит трупом на больничной койке с пластмассовой кишкой во рту. О том, что он жив, бодр и более чем транспортабелен Соня, конечно, не догадывалась, поэтому и плакала так горько.

Он сожалел о том, что Сонины слезы нельзя было собрать и положить в ту картонную коробочку из-под будильника, где хранились его драгоценности: черные морские камушки с красными прожилками, увеличительное стекло от бинокля, обломок коралловой веточки, четыре пули и медный пятак царских времен зеленого цвета.

Вторая Лешкина половина сама готова была рыдать – так было ему девочку жаль. Приземлившись рядом с обожаемой одноклассницей, он мечтал высушить ее глазоньки, согреть ее тонкие холодные пальчики, погладить золотистую головку, шепнуть в прозрачное ушко: «Я здесь, милая Соня. Не плачь...» Но... на данный момент желания Лоханкина не совпадали с его возможностями.

На пороге школы Соню ждали родители. Любовно обнимая дочь с двух сторон за плечи, они склонили над нею головы, словно пингвины над своим единственным птенцом, и сказали.

– Мы все узнали, Сонечка. Пока к нему никого не пускают. Даже маму.

– Ничего страшного не случилось. Просто ребенок утомился и решил отдохнуть. А самый лучший отдых, Сонечка, это сон.

– Скоро будет дано разрешение его навестить. Моисей Давидович делает все невозможное, чтобы мальчик вернулся в строй еще раньше, чем мы думаем.

При этих словах девичьи очи прояснились, а счастливый Лоханкин снова взмыл в небо.

Лешка последовал за семейством Гусманов, словно воздушный шар на ниточке. Он смотрел, как природа на глазах меняла гнев на милость. Дождь прекратился, откуда-то примчался шустрый южный ветерок и принялся прогонять хмарь и просушивать хлябь. Он, как-бы фланелькой, живо вытер досуха дома, столбы, деревья, телефонные будки, авто, прохожих, собак. Остовы абрикосов, вишен, орехов, напоминая гигантских доисторических членистоногих, под ветром вдруг ожили и зашевелили коленчатыми лапами. Высасывая последние осенние соки из жилистых кореньев, змеились лозы кустов. Ажурные шары китайских акаций прядали от птичьих перебранок и хлопанья крыльев. Цвир-р-р-р – рассыпалась пригоршня воробьев. Кух-кух-кух – расщеперилась ворона. Юф-юф-юф-юф – затрепыхалась пара горлинок.

Быстро теплело, только небо оставалось еще холодным и страшным. Оно пугало синюшными и распухшими, как утопленники, облаками, которые медленно плыли к какому-то далекому пристанищу на север... И тут Пианист увидел свою маму Ольгу Ивановну.

Леша бросился к матери и проследовал за нею до самого директорского кабинета, прыгая вокруг нее козликом. Когда она постучала и приоткрыла дверь, из щели

донеслось: «Подождите, пожалуйста. Идет совещание». Он обнял матушку и чмокнул ее в щеку, не надеясь на ответную взаимность и даже не мечтая быть обнаруженным.

Алексей вдруг увидел, как изменилась его мать. Вопреки ожиданию, она не выглядела убитой горем. Напротив, ее лицо выражало ожесточенную твердость. Под грозовым сумраком бровей, в остром, как лезвие, взгляде метались стальные отблески. Следы бессонной ночи были с ювелирным тщанием затонированы. Губы язвились пунцом.

Резкими движениями мать сбросила капюшон, встряхнув темное глянцево-каре свежестриженных волос, сдернула красные лайковые перчатки, швырнула сумочку в коротколапое тощее с обвислым брюхом кресло. Упав в него, она забросила ногу на ногу и принялась качать носком бордового сапожка с высоким каблуком, барабанив при этом ноготками по подлокотникам.

Лешка таращился на свою мать, словно видел ее впервые. Это была не та вечно озабоченная неприглядная женщина в сером, которую он привык видеть ежедневно. Перед ним предстала элегантная, изысканно пахнущая пришелица из другого мира с воинственным лицом прекрасной амазонки, с точеными ногами под короткой юбкой, с идеальной фигурой в черном облегающем пальто.

Глядя сейчас на нее, мальчик не мог себе представить, что это именно к ней вечно приставали бомжи, бродячие псы и полудохлые котята, выпрашивая милостей. Это ее вечно обдуривали торгаши, нагло обвешивая и подсовывая дрянь. С нею, нынешней, никак не ассоциировались субботние посиделки на кухне в обществе не очень привлекательной, но зато очень умной подруги Клары, когда ковыряя пальцем дыру в чулке и ежась под убогим халатом, мама с фальшивой вывеской оптимизма на лице отчаянно шутила: «Поездка в театр, дорогая, предполагает соответствующий для этого вид. Мое «несносное» пальто и «несношаемые» туфли не предназначены для культпоходов».

Сейчас, когда Лоханкин увидел свою матушку в образе светской львицы, он никак не мог взять в толк, как удавалось ей маскировать хорошее телосложение под мешками, называемыми одеждой? По дому она ходила в белесом пузырячатом халате, который придавал ей сходство с пол-литровой банкой. На работу она одевала всегда один и тот же костюм прямого силуэта мутно-бутылочного цвета с оттенком безнадёги. Блузки в количестве пяти, чередующиеся под костюмом по дням недели, были тусклы и уныло скроены. Из своих блестящих, как мебельная лакировка, каштановых волос маменька ежедневно скручивала на затылке крепкую дулю, в которую втыкала целую жменю шпилек. Юбка стояла колом, имела длину «ни два, ни полтора» и так уродовала красивые женские ножки, что они казались гусиными лапами, торчащими из птичьего брюшка. У Ольги Ивановны были маленькие ступни, которые она и зимой и летом запикивала в надежные башмаки на шнурках, на низком ходу и на широкой платформе. Такую обувь в народе называют «говнодавами».

Подросток озадачился вопросом: «На какие деньги матушка купила такой классный наряд? Неужели на те неприкосновенные гривны, которые она держала в шкафу придавленными стопкой белья?» Лоханкин прекрасно знал, где лежат сбережения. Это знание было для него неким испытанием, которое ему устроила Ольга Ивановна.

Ее отпрыск однажды обнаружил лежащую на столе ветхую бумажонку номиналом в две гривны. Обрадованный, он отправился в близлежащий ларек за сникерсом. Но насладиться покупкой ему не удалось, так как бдящее материнское око обнаружило пропажу. Во-первых, Ольга Ивановна сникерс отняла, во-вторых, целый час читала обиднейшую нотацию, а в-третьих, перестала прятать от сына деньги. Каждый раз, отправляя в шкаф то небольшое, что оставалось от месячного заработка после платежей по счетам и раздачи долгов, она напоминала своему птенцу: «Вот, Лешенька, здесь у нас с тобой лежат денежки на черный день – все наши миллионы».

Для особо крупных трат на лечение сына от частых болячек с последующим его оздоровлением в евпаторийском санатории имелась особая статья. Но для ежегодной покупки двух жизненно необходимых тонн угля с кубом дров денег, заранее припасенных «на черный день», все равно не хватало и приходилось занимать.

«По-видимому, черный день настал», – подумал Леша. Но эта мысль его нисколько не огорчила, поскольку обновленная мамуля ему понравилась чрезвычайно. Потрясенный фантастическими переменами в имидже матери, юнец почти в состоянии аффекта принялся от радости парить, словно воздушный змей на семейном празднике. Потом он приземлился, прильнул к кормилице с одного и с другого бока, обнял за шею и клюнул в темя без малейшей реакции с ее стороны.

Неожиданно в жидком освещении коридора возникла гремящая каблуками класснуха Маруська. Она несла на локте левой руки журнал успеваемости, словно сеятель сито с зерном. Наблюдая, как вихляется несколько укороченная нижняя часть ее тела, обтянутая лосинами так, словно была голая, Лоханкину закортило прознать, что делается в директорском кабинете...

...Просочившись сквозь стену, как вода сквозь песок, Пианист развалился в свободном кресле напротив директрисы Людмилы Константиновны, которую школьная братия окрестила коротко Л.К., что в транскрипции звучит как ЭлКа. Она возвышалась черным валуном над столом, убеленным ворохом бумаг. На стене чуть выше ее головы висел беспристрастный лик Кучмы, спирохетовым взором призывающий к государственному порядку. Справа, под стеной, как куры на насесте, разместились преподаватели. Все, включая класснуху Маруську, сидели на краешке сидений, точно загипнотизированные. Картина «Группа кроликов перед удавом».

Разнос был в самом разгаре. ЭлКа метала громы и молнии. Она грохотала, как отбойный молоток:

– Жду вашего отчета об успеваемости Лоханкина, уважаемые! – директриса называла уважаемыми тех, кому хотела напомнить, что они не достойны ее уважения.

– Людмила Константиновна, – затарахтела русиня на одной жалобной ноте, – по русскому языку у Алексея твердая четверка, а по литературе – высший балл.

Директриса сморщилась, как от вида таракана.

– Меня интересуют отметки Лоханкина по точным предметам! А вы, милочка, – (весь персонал женского пола ЭлКа величала милочками) она выдержала ехидную паузу, – будете отвечать, когда вас спросят.

Анка пристыжено съезжилась и сгребла под стулом ноги, словно они были у нее парализованные, крестообразно. Рядом завозилась крепкая, как молодой груздь, физиня.

– За вторую четверть Леша проявил слабую успеваемость и, если он не перепишет последнюю контрольную, то не дотянет и до трех баллов.

– Очень хорошо! Переписывание не состоится. Если в нашей школе переписывать контрольные станут все ученики, то...

Директриса не успела придумать продолжения, как физиня встряла.

– Но Леша Лоханкин – не все. Он одаренный ребенок. Его портрет висит на школьной Доске почета.

– Кто повесил Лоханкина на Доску почета?! – взревела ЭлКа.

– Я... – тихо ответствовал трудовик, втянув ушастую тыковку в мешковатые телеса.

– Убрать!!! – взвизгнула глава школы.

Трудовик черкнул ручкой в ежедневнике, положил на брусчатые колени кувалды кулаков, и вытянулся на стуле по струнке, ожидая новых распоряжений.

– От вас, уважаемая, – она ткнула пальцем в физиню, – жду докладную записку о неуспеваемости Лоханкина! Все понятно?!

Физиня потухла. Математичка, прочистив кашлем горло, продолжила:

–Что ж, Алексей, несомненно, ребенок способный, но в последнее время сильно скатился. Часто я застаю его на своих уроках за чтением художественной литературы э-э-э... эротического содержания.

Лоханкин при этих словах подскочил на месте и чуть не улетел в потолок. Он припомнил, что был застукан на математике с Лолитой. Теперь ему было не отвертеться, ЭлКа узнает обо всем, тень может упасть на друзей, на милую Соню, и всем тогда кранты. Лоханкин испытал желание уничтожить весь этот пед-ический совет сию секунду. Он взлетел и принялся топтаться по головам учителей, пиная их прически и плюя на их лбы, не причиняя тем не менее никому никакого ущерба. При этом он ощутил уже знакомое наслаждение, сравнимое с игрой в Контр-Страйк, когда можно абсолютно безнаказанно «мочить» своего виртуального противника. Лоханкин увидел, как головы ненавистных преподав разлетаются кровавыми клочьями, трупы их валяются прямо под гусеничные лапы Лешкиного танка и лопаются с полновесным жирным хлопком, точно мадагаскарские тараканы...

...Слова математички, пролетевшие по перепуганным учителям обжигающим самумом, выдули из них выхолощенный шепоток. ЭлКа положила на стол пудовый бюст и с усилием вытянула вперед идеально причесанную голову, от чего у нее обнаружилось подобие шеи. Вперив в математичку круглые в черных ободах глаза, внезапно выкатившиеся из-за бугристых щек, директриса завизжала:

– Что-о-о-о?! Почему, вы, милочка, молчали раньше?! Это надо немедленно взять на заметку и приобщить к делу! Что у вас? – она кивнула в сторону англичанки.

Та, спотыкаясь, с видом провинившейся первоклашки принялась докладывать об отличных успехах в изучении иностранного языка бедным, всеми заочно распинаемым, пребывающим где-то между небом и землей, совершенно чужим и лишним для всех этих теток и дядек, подростком. Директриса заткнула англичанку на полуслове:

– Достаточно. Это не потребуется.

Тут все сразу догадались, от кого чего требуется. Леша с удивлением наблюдал, как те самые учителя, которым он никогда не отказывал в их мелких просьбах, в какие-то десять минут завели на него целое «дело». Ему не вменилось в заслуги, что он мыл в их аудиториях полы, бегал для них в булочную за пирожками, носился с дурацкими цветочными горшками, возбуждая к жизни дохлую растительность. Он рисовал стенгазеты, добывал из подсобки мел, развешивал плакаты, таскал классные журналы, стопки тетрадей, учебников и т.д. Теперь он был виновен по всем статьям. Даже мужчины из преподавательского состава, наличествующие во всей школе в количестве двух, постарались произвести на ЭлКу впечатление.

Физрук, которому Лешка помогал после занятий сволакивать в кучу спортивный инвентарь, вскапывать яму с опилками для прыгунов в длину, красить спортивные снаряды и разлинейвать меловым порошком школьное футбольное поле озвучил событие прошлой четверти, когда подросток сидел в углу на уроках физ-ры потухший и обессиленный после гриппа. Справку из поликлиники он где-то по дороге посеял и на понукания препода не реагировал, а тот в ответ старательно ставил ему колы. Их набралось с добрую дюжину, и этот факт был сформулирован педсоветом, как злостное нарушение школьной дисциплины и порчу показателей успеваемости.

Трудовик, порывшись в памяти, тоже нашел, что рассказать. Он поведал историю о том, как в ноябре месяце Лоханкин отправился с его предмета, не спросясь, на академконцерт. В этом неблагоприятном поступке препода усмотрел пренебрежение к воспитательному труду, к школьным товарищам и лично к своей особе.

Биологичка припомнила факт годичной давности, когда Лешка притащил в класс воробьиного подранка, и весь 6-ой «А» бросился искать для раненой птицы пропитание. С этой целью на перемене в биологическом кабинете были открыты заклеенные на зиму оконные рамы. Мухи, спавшие мирным сном до весны в просторных оконных щелях, при этом посыпались, как семечки, в большом количестве.

Весь урок ученики ползал по полу, собирая в литровую банку птичий корм, который в тепле оживал и принимался летать, издавая рев бомбовозов.

Преподы негодуяюще закачали головами, а Лешка улыбнулся воробышке, вспорхнувшему в его памяти. Всю зиму он жил у них дома в благоустроенной клетке для хомячков, а весной покинул решетчатый домик и угнезвился под балконной стрехой, то и дело залетая в распахнутую дверь зала – пообщаться.

Класснуха, которая совмещала уроки химии и классное руководство, особенно выслуживалась. Все Лешкины промахи она возвела в энную степень, благодаря чему они приобрели космические размеры. Маруська слила все в одну помойную яму – опоздания, незавязанные шнурки, рваный ранец, вечное отсутствие дневника, отвращение к предмету химии и цыпки на руках.

Преподы уже изрядно расхрабрились и лили на Лоханкина компромат с превеликим усердием. Но, когда ЭлКа, отдышавшись, снова зарычала, переходя на рев, они прижухли и, казалось, впали в ступор.

– Скажите мне, уважаемые, почему в нашей школе происходят столь безобразные ЧП?! Почему на школьной площадке валяются пьяные ученики; пятиклассники избивают друг друга до полусмерти; восьмиклассник на неделю запирает в чулане без воды и еды бабушку; старшеклассник, господи прости, совершает над пятиклассником акт насилия и привязывает его к железнодорожным рельсам, а медалист – гордость школы – вешается накануне выпускного бала?!

В нависшей гробовой тишине Лоханкину пришло беспокойное чувство, что он как-то причастен ко всем этим ужасам. Но как? Вскочив, он стал нервно передвигаться по директорскому кабинету, всем заглядывая в глаза и отыскивая в них ответ. Но под марионеточными личинами он видел лишь страх. Пианисту захотелось понять природу этого страха. Ведь куклы ничего не боятся, они лежат, замерев, в пыльных коробах или забавно движутся, когда их оживляет кукловод, что-то говорят механическими голосами. А эти люди-марионетки робеют что-то сказать невпопад, сделать неправильный жест. Лешкино понимание жизни вдруг перевернулось с ног на голову. Оказывается, преподаватели, к которым он всегда был равнодушен и даже просьбы их выполнял без малейших эмоций, которых он считал ходячими роботами, неломаящимися бездушными механизмами – были уязвимы и трусливы...

ЭлКа уже охрипла от ора. В ярости она стучала миниатюрными, не соответствующими циклопической фигуре, кулачками по столу, трясла головой и притопывала ногой. От нее в разные стороны разлетались бумаги, ручки, скрепки, шпильки, слюна. Сегодня директриса жучила своих подчиненных с особым остервенением. Она метала оскорбительные слова, и те, как томагавки, врубались в головы преподавателей. Неожиданно она закашлялась, поперхнувшись собственным криком, и замолкла на минуту.

В траурной тишине раздался робкий голос. Завдир по внеклассной работе, дама неустановленных лет, невнятного вида и незаметная, как невидимка, тихо заскрипела:

– Людмила Константиновна, позвольте доложить, что не только в нашей школе происходят ЧП. Беда у нас у всех одна. Наши дети практически не получают основ морали. На классных часах предметники, совмещающие классное руководство, вместо понятий о добре и зле дают дополнительные уроки, стараясь хотя бы чуточку подтянуть отстающих. Ведь теперь обязательное время, отведенное для занятий с двоечниками, отменено. А от нас требуют успеваемость, конкретные баллы. Добиться от детей хороших результатов очень тяжело.

– М-м-м? – воззрилась на подчиненных ЭлКа, покашливая и давась припертой к горлу бранью. Видя ее заминку, преподаватели взорвало. Они все разом загоготали, как гуси.

– Детей контролировать некому, родители поразъезжались на заработки!

– Раньше воспитывала партия и правительство, а теперь!..

– У них все тормоза развинчены, делают, что хотят безнаказанно!

- Пропадают в подвалах, заброшенных домах, там пью, наркоманят!
- Не ночуют дома!
- Общешкольные линейки, классные советы, товарищеские суды в среде учащихся упразднены!
- За спиной учителя безобразничают, ходят по классу, переговариваются, ржут!
- Все свободное время сидят в интернетцентре – играют в Контр-Страйк, смотрят порно!
- В их портфелях можно найти все, что угодно, начиная от нерекомендованной литературы до презервативов!
- Они ходят все поголовно в спортивных штанах. А если кто из старшеклассниц надевает юбку, то такую, что весь срам наружу!
- Не стригутся, не моют обувь!
- Они курят прямо на ступеньках школы сигареты!
- И не только сигареты!..
- И не только курят, но и...
- Хватит, – просипела директриса, хлопнув розовой ладошкой по столу. Она вся как-то сдулась, от ее внушительного вида ничего не осталось. Покопавшись в сумочке, кинув в рот таблетку и хлебнув из пластмассового стаканчика, она выдавила устало и растерянно:
- Все внеклассные уроки провести и отчитаться. Ах, да... поздно уж...

Она немного поразмыслила и просипела:

- Отчеты о внеклассной работе предоставить мне сегодня же!... Сейчас же! Все свободны. Идите, пишите... сочинение на вольную тему. И не забывайте, по последнему ЧП к нам в понедельник приезжает комиссия. Чтоб все были в восемь часов на месте, как штык... А вы, милочка, задержитесь.

Все, молча вытаращились на ЭлКу. Она ткнула пальцем в Маруську, и пока учителя по-кошачьи тихо уносили ноги, класснуха прилипла к краю стола по стойке «смирно», словно шпагу проглотила.

- Вы вызвали Лоханкину в школу?
- Да. Она ожидает в коридоре.
- Все ли сдали деньги на новогодние подарки учителям?
- Нет. Лоханкина не сдала.
- Как так? Безобразие!
- Она никогда ни на что не сдает. Вместо денег она приносит справку.
- Какую такую справку?
- Справку из ЗАГСа о том, что она одинокая мать.
- И что же вы предприняли?
- Я рассчитывала нажать на нее через сына. Но в данный момент он лежит в больнице. И если уж Лоханкин будет переведен, то...
- Никаких то... Лишние деньги не помешают. Плохо работаете... И вот еще что.

Директриса сделала зверское лицо.

- Вы бы, милочка, приоделись, как следует. Осмелюсь напомнить, что вы находитесь на службе в школьном учебном заведении. Я не намерена отвечать еще и за молодых специалистов. Этот ваш э-э-э... имидж соответствует разве что ночным кабакам. Кого вы, дорогуша, хотите впечатлить своим декольте и голыми ногами? Лоханкина?.. Ступайте и сделайте выводы.

Маруська проковыляла иноходью до дверей, спотыкаясь и стараясь греметь каблуками потише, а Пианист весь вострепнулся, как молодой петушок. То, что сказала ЭлКа, лежало за пределами его понимания. Конечно, он слышал, и не раз, как толпа старшеклассников с гаерским хохотом кидала вслед класснухе реплики, типа «я бы ей вдул...» или «эй, кобыла, возьми у меня...». Но он сам... Пианист любил Соню Гусман и мечтал поцеловать подол ее платья.

Элка, оставшись (как она полагала) одна, порылась в пустотах своего стола, вытащила укушенную булку, всхлипнула, как маленькая девочка, что-то жалобно пролепетала себе под нос, икнула, пустила ветры, ойкнула и впилась в сдобу.

Пианиста это пробило на «хи-хи». Потом накатило омерзение. Потом ему стало жаль эту грузную, немолодую, нездоровую даму. Увязнув в паутине ощущений, он вдруг почувствовал, как устоявшийся страх, который каждый раз окатывал его помоями при виде директрисы, будь то наяву или во сне, улетучился. Теперь Лоханкин не боялся себе признаться, что та самая здоровенная бесстыжая баба, которая приходила к нему в бредовых сновидениях, поднимала юбку и, хватая себя за причинное место, устрашающе шипела: «Лоханкин, немедленно подойди ко мне...» – была ЭлКа.

Счастливым пятничным днем, последний день первого учебного семестра катился к рубежу второго тысячелетия. Вместе с ним по синей тарелке неба улыбчивым яблочком катилось и резво закатывалось за окоем непредсказуемое крымское солнце. Погодка окончательно просветлела и явно не хотела по-зимнему суроветь. Коты и собаки увеселено шныряли; тетki с кошелками бодро топали; школьники, словно сорвавшись с цепи, скакали и вопили, недвусмысленно демонстрируя психопатию, отягощенную учебой.

Лоханкин, зараженный всеобщей первобытной лихорадкой, ошалев от абсолютной своей свободы, бесцельно носился над Горным. Попутно он обозревал округу и совал свой отсутствующий нос куда ни попадя. Он потусовался на распродаже сосен, которые почему-то испокон века называются елками. Потом целых полчаса отирался в булочном цеху возле здоровенных кубических печей. Из любопытства заглянул в аптеку – царство коробочек и пузырьков, а также в железнодорожные кассы, в которых не обнаружил ничего занимательного.

За закрытыми дверями ДК, в пустом фойе он столкнулся с пышнотелой и вычурной, как купеческая дочь, сосной, поигрывающей своими фальшивыми бриллиантами. Очаг культуры уже приготовился к проведению детских утренников. На целых три дня он был запечатан и тих, как смиренная монашка на повечерие.

Тут Лоханкину загорелось посетить кухню ресторана, где в развалах всевозможной снеди он чуть не потерялся. Здесь тщательно готовились к ночному разгулу местной крутизны и уже в четыре часа пополудни принимались за кулинарное дело. Сырный, колбасный, фруктовый, пряный дух мог довести до обморока кого угодно, но только не Лоханкина.

Леша не чувствовал ни голода, ни холода, ни усталости, ни естественных позывов. Он не был обременен своим повседневным шмотьем, поэтому не боялся наступить на вечно развязанные шнурки и растянуться под хохот одноклассников. Ему незачем было переживать, что дневник снова потеряется. Он забыл, что на пятнадцать ему назначен урок по фо-но, а в четырнадцать в школьном актовом зале без него прошла генеральная репетиция новогоднего карнавала, где он, одаренный ролью звездочета, должен был тренироваться в зажигании гранатовой звезды на елочной маковке. К нему теперь не относился ритуальный вынос мусора и отмывание обуви от грязи, которая в Горном после дождя была обильна и прилипуча. Сейчас он был, как нелестно выразилась бы матушка, «пустоголовый жуир». Это злокозненное словосочетание мальчика всегда больно жалило и сеяло в глубине его души подлое семя сомнения относительно материнских чувств родительницы.

Порой Ольга Ивановна поступала со своим ребенком самым безжалостным образом. Она вырывала изо рта сына чипсы, мивину, пепси-колу, жвачку и прочие вкусности, купленные им на его личные карманные сбережения. Не единожды Ольге Ивановне приходилось отправлять свое нерадивое чадо в больничный стационар, чтобы лечить от отравления. Там ребенок получал капельницу с физраствором в

совокупности с родительским нагоняем. Сидя на краю железной койки и следя за висящей на штативе вверх тормашками стеклянной бутылкой, пускающей рыбки пузыри, Лоханкина язвительно говаривала.

– Ну, погоди-и-и ж ты у меня, спиногрыз. Как только выйдешь из больницы, получишь отме-е-енных тумачков. Будешь знать, как жрать всякую гадость.

Мать, старательно воспитывая сына, приобщала его к полезному физическому труду. В библиотеке, где она помимо основной должности еще имела полставки уборщицы, у мальчонки был свой фронт работы. В то время как Лешка орудовал шваброй, мечтая лишь о том, чтобы скорее от нее избавиться и ухватиться за книгу, матушка его понукала: «Чаще полощи тряпку, не оставляй разводов на полу. Да про углы не забывай. И поживей поворачивайся, что ты, как спящая царевна?.. Вот, сынок, будешь знать, откуда что берется. А со временем узнаешь, куда что девается».

Ольга Ивановна неукоснительно заставляла свое сокровище выполнять уроки, играть ненавистные гаммы, делать зарядку, убирать в детской, менять ежедневно носки, мыть руки перед едой и еще множество самых разных, безусловно, полезных, но таких нелюбимых и потому трудных вещей. И она таки достигала результата. Одного только ей не удавалось добиться от детища – чтобы он не терял дневника.

Ни просьбы, ни страдания, ни тычки не помогали. Поэтому Лешкина школьная жизнь представлялась Ольге Ивановне довольно туманной. А ввиду того, что телефон в их квартире установили только две недели назад, то предупредительных звонков от классной домой не поступало. Их не поступало и на работу Ольге Ивановне. Когда же она звонила в школу, то на все свои вопросы получала от секретарши один из трех ответов: «Людмила Константиновна на совещании», «идут уроки» и «я занята».

С появлением в квартире телефонного аппарата Лоханкин хорошо прочувствовал, куда что девается. Ежедневная выдача карманных денег прекратилась. Ассортимент продуктов питания резко ограничился горохом, гречкой и капустой. Из кухонного шкафчика исчезли звонкие хрустальные рюмочки – двенадцать штук. Зато в доме появилась Кларина печатная машинка Ятрань, и матушка стала по выходным и по ночам строчить километровые тексты за копеечную мзду.

Пианист считал, что у него неправильная мать. Она никогда не бегала в школу с подношениями для наведения «мостов», как это делали на глазах у всех мамашки его одноклассников. Она никогда не заступалась за Лешку и не устраивала из-за него ни с кем разборок. Она, как ему казалось, нисколько не сочувствовала его мальчишеским ранам – разбитым коленкам и локтям. Она ни разу не согласилась отмазать его от школы.

Иногда, выбравшись из «ночного читального зала под одеялом» с самоощущением, сравнимым с разбитым старушечьим корытом, Лох принимался скулить.

– Ма, я, кажется, заболел. Можно я останусь дома? А завтра ты напишешь записку, что у меня была температура.

Мать, догадавшись о злом умысле сына, расставляла ноги шире плеч и упирала «руки в боки». Издевательски улыбаясь, она отвечала.

– Знаю я твою температуру. Вот она!

Быстро подскочив к кровати отпрыска, она хватала край матраца, переворачивала его и выуживала из постельной кучи безобидную книжонку для подростков. Лох, шваркнувшись о пол всей своей мягкотью, радовался, что мать не добралась до Камасутры. Поэтому, парочку безболезненных оплеух от строгой родительницы принимал, словно пряники.

Запойное чтение, как и обжираловку бесполезной едой Ольга Ивановна пресекала непедагогическим методом. Она бесшумно подкрадывалась к пианисту из-за спины и выдирала книгу из рук, в то время как тот был глух, аки тетерев.

Мать у Пианиста была настолько неправильной, что когда ему однажды цыганчата рассекли бровь, она и тогда не ударилась в разборки. Утерев сопли и промыв ранку своему ненаглядному детенышу, она усадила его за столом напротив себя и сказала.

– Сын, в твоей жизни будут такие ситуации, когда никто не сможет тебе помочь. Ты должен научиться сам себя защищать. Она положила на стол скалку.

– Возьми это и носи всегда с собой. Если начнут приставать – бей изо всех сил куда попало...

...Сегодня Пианист навсегда распрощался с сомнениями в материнских чувствах Ольги Ивановны. Он думал о своей маман с обожанием. Как она была великолепна в роли женщины-вамп! Ее выступление было не что иное, как гениальная игра величайшей актрисы. Ее выход, вернее вход в ЭлКин кабинет, поступь, взгляды, мимика, жесты, голос!.. А текст каков!

Директорский кабинет. За столом ЭлКа. Дверь открывается, входит Ольга Ивановна. Она стремительно подходит к столу. Одной рукой оперевшись о него, а другой подбоченившись, она перегибается через край и приближает лицо к директорисе. Громко, с вызовом, не поздоровавшись.

Ольга Ивановна. Вы (подчеркнуто издевательски) слишком много на себя берете, любез-з-зная Людмила Константиновна, если думаете, что можете беспрепятственно вышвырнуть моего сына их школы. Ваш поступок не имеет оправдания (возвышается над ЭлКиною головой). В то время как мой мальчик лежит на больничной койке, вы... (делает лицо, отображающее крайнюю степень омерзения).

ЭлКа. Шо-хо-фу-бу-бу... (отодвигает подальше голову с застрявшим во рту куском булки)

Ольга Ивановна. Вам до пенсии сколько осталось? Год, полтора?..

Пауза. Лоханкина нависает корпусом над столом и приближает к ЭлКе впритык свое лицо. Она говорит, разделяя и подчеркивая слова.

Ольга Ивановна. Вам не удастся перевести моего ребенка в сельскую школу, как это вы проделали с другими детьми. (Громко) Мне ничего не стоит вас-с-с (кривит при этом слове рот) прихлопнуть, как муху! (Кричит) Я подниму на уши весь Симферополь! Телерадиовещание и пресса будут неустанно трепать ваш-ш-ш-ше имя! Комиссии проутюжат дорогу к школе до блеска! И до самого Киева понесется весть о взятках, кумовстве, поборах, шантаже, приписывании баллов, несчастных случаях и... и еще много о чем! Вот!!!

Ольга Ивановна выдергивает из рукава, как сказочная Василиса Прекрасная, свернутые в трубу листы и ударяет ими по столу. Листы разворачиваются с тараканьим шорохом. ЭлКа цепляет на нос очки и наваливается на стол, хватая бумаги. Пауза. Приоткрывается дверь, в щель просовывается кошачья мордочка испуганной секретарши.

Секретарша. Людмила Константиновна, с вами все в порядке?

ЭлКа. Жакойте твехь! (проговаривает директориса через забитый булкой рот, кошачья мордочка исчезает).

ЭлКа, наконец, проглатывает булку. Она сидит с пришибленным видом и морщится, как от нашатыря. Затем, вдруг, залоснившись лицом и улыбаясь до неприличия подобострастно и широко, обнажает во рту золотую коронку на восьмом коренном.

ЭлКа. Ольга Ивановна, голубушка, произошло некоторое недоразумение. Мария Петровна несколько исказила информацию о положении вещей. Вас вызвали лишь для того, чтобы сообщить о снижении успеваемости Лешеньки по отдельным предметам. Ведь это входит в обязанности классного руководителя.

Ольга Ивановна. (более спокойно, но безапелляционно) Вот именно. Эти обязанности, как я понимаю, являются ежедневными, а не разовыми. Деньги за

классное руководство Мария Петровна получает ежемесячно или раз в году? Кстати, ей в статье уделена целая страница.

Элка энергично листает статью.

Ольга Ивановна. (Прихватывает сумочку-кошелек одной рукой. Указательный палец второй руки устремляет ЭлКе в лоб). Дубликат рукописи оставляю для ознакомления. Ж-желаю здравствовать.

Лоханкина направляется к выходу. Директриса с фальшиво-приветливой интонацией изрекает ей вдогонку.

Элка. Не беспокойтесь Ольга Ивановна. Можете считать инцидент исчерпанным. Надеюсь после каникул увидеть Лешеньку в полном здравии и готовым к учебе.

Пианист просмотрел сцену с превеликим удовольствием. Из своего наблюдения он сделал три умозаключения. Первое – его мать за него, Лешку Лоханкина, любому горло перегрызет. Второе – листы, свернутые в трубу, были помещены в рукав пальто, поскольку в сумочку не поместились. Третье – компромат, которым матушка страдала директрису, сочинен не кем иным, как ее подругой Кларой, которая была вхожа во все информационные круги.

Клара не только писала статьи для всевозможных крымских газет, но еще частенько выступала на телевидение и радио. Еще она сочиняла песенки, которые пела медовым голосом под гитару всем подряд. Недавно она увлеклась рисованием. В результате, стены и потолки ее холостяцкой маленькой квартиры были сплошь размазаны пастелью, гуашью и акрилом. Когда мама отправлялась в гости к Кларе, Лешка увязывался за нею следом. Пока две подруги были заняты разговором, Пианист, задрав голову, кружил вокруг расписных квадратных метров.

Он был охвачен волшебством летающих домов и деревьев с человеческими лицами, в окнах и ветвях которых распевали вуалехвостые птицы. Он слышал их свирельные голоса, перебиваемые детским смехом. Девочки и мальчики, мерца прозрачными крылышками, улыбались Лешке с потолочного неба. Собаки и коты лихо играли на лютнях и волынках. Хрустальные рыбы танцевали и, хлопая веерными ладошками, распространяли чарующий звон. Дождь изливался горошинами монпансье, а леденцы испарялись бабочками лимонницами. Вместо облаков по золотистому небу брели мандариновые овечки, и лиловое солнце запускало в кудрявое руно тонкие руки. Все белые пятна, какие оставались на стенах, были заполнены изумрудными, рубиновыми и сапфировыми жуками...

...Пианист забыл и о школе, и о директрисе, и обо всем на свете. В своих фантазиях – единственно надежном месте, где мальчик чувствовал себя по-настоящему дома, он обнаружил себя эльфом. Дрожа сетчатыми крылышками и всей своей хрупкой душой, он устремился из воронки одиночества в фантазмагорию нарисованного рая, где играли и смеялись крылатые дети...

...Доживая свой предпоследний день перед концом света, поселок городского типа с загадочным названием Горный по своему ровнехонькому, куда глаз ни кинь, основанию распространял странное безлюдье.

Впрочем, странного в этом было не больше, чем в тушке кота, с утра до ночи валяющейся под батареей центрального отопления. Поселковый народец, закончив работу (которая от слова раб), по закону природы устремлялся к ужину, телеку и дивану. Так что в пять часов вечера все порядочные люди сидели по домам, и прохожие на улицах становились редкими и, даже какбы неуместными.

Декабрьские часы дня и ночи разделялись тонкой полоской безвременья, которая пролегла строго по отметке семнадцать. Движение жизни замедлялось. Казалось, сумрак имел вес, и зимний крымский день, набираясь им, как губка водой, становился тяжелым и вялым.

На отшибе поселка скромно и с достоинством, точно тонкостанная кыз, высилась, глядя в небо, белокаменная мечеть. Репродуктор голосом муэдзина возвещал азан. За ту недолгую минуту, пока звучала дивная, сложенная не по музыкальным, а по каким-то небесным законам мелодия, Горный успел увязнуть в потемках, как муравей в смоле. Постепенно замедляя свои шевеления, он замер.

Одновременно с этим, в центре городка возле злачного рынка, скованного по всему периметру сталью ворот, засовов и замков, на церковной колокольне занялся и потух всполох колокольцев. Весь мир притих то ли перед покаянием, то ли перед грехопадением.

Короткий зимний день закончился. Скороспелые сумерки забили серой мякотью все выемки и щели. Поднебесье по-хамелеоновски меняло тона – сирень, фиолет, ультрамарин, индиго. Очень скоро на черной сковороде неба начали выстреливать белым попкорновым мяском светила. Бесфонарная ночь упала на Горный сырым чернильным телом. Дома во все стороны вытаращили угловатые гляделки. Рестораны, бары, ночные магазины воссияли, как храмы Бенариса. Лингам водочапки вздыбился над поселковой тьмой и, упершись в лунный глазок, обрел в звездном флёре монументальные очертания.

Хмельная лорелея с вороньим скрипом голосила с балкона: «...А ты такой холодный, как айсберг в океане...» – Она протягивала руки со своего постамента вниз, к пробегающему конторскому служащему в шляпе и с папкой подмышкой, который прошмыгнув под балконом в темный угол, исподтишка разглядывал откровенную фигуру распалившейся горлопанки под прозрачной на свету рубашонкой.

Уже в пять часов вечера, как обычно, у «заднего прохода» всех злачных мест стояли на стреме бомжи. Они стерегли вынос продуктовых отходов. На крыльцо кухни то и дело выскакивала одна из поварих в косынке и фартуке и швыряла наземь то, что требовалось отправить в мусорный контейнер. Это были вываренные до бильярдного блеска кости, красивейшая спиральная стружка апельсиновой и овощной кожуры, колбасные шворки, рыбы остовы, куриные клоаки, труха от фрэша. Бомжи набрасывались на отбросы, как псы на блевотину. Они грызлись, выдирая друг у друга добычу, выгавкивали проклятья и туберкулезную тину.

Распанахав тишину поселкового захолустья, проскакал по дорожным выбоинам черный бумер. Глотки его динамиков прогремели «владимирским централом», как сатанинским набатом. Из окон торчали визжащие головы бухих марух. Бумер мотался из стороны в сторону чертовым хвостом и злобно вопил.

До десяти вечера на улицах, освещенных лишь луной, то там, то сям в крошечной тьме, подобно одиночным взрывам бомб, раздавались: рев моторов, короткие потасовки крутизны, припадочный хохот обдолбанных подлетков, бляение потасканных шар. После десяти бесовская мистерия разворачивалась исключительно в центре Горного, в средоточие питейных заведений. Накаченные алкоголем и дурью люди-зомби по мере достижения кондиции превращались в свирепых, прожорливых, вонючих, ползающих и тупо совокупающихся тварей.

Уже шестую ночь подряд перед Пианистом раскрывалась страшная книга жизни. Была ли то жизнь или множество еженощных смертей, уготованных дьяволом человечеству, мальчику не дано было понять. Он видел некую омерзительную медузью субстанцию, которая шевелилась и ползла по улицам Горного. Она росла, пухла, выдавливала из себя пузыри с мутными нечистотами и с головой накрывала одуревших приматов. Из этой гадости выползали червячные щупы и с чавканьем присасывались к грудным клеткам, после чего жертвам предстояло только одно – стать размягченной пищей для гнусного чудовища и расщепиться в его требухе на миазмы и гуано.

От жутких видений в мыслях и чувствах мальчонки сначала образовалась страшная фаршмачная мешанина. На шее у него повис реальный утопленнический камень, который душил так по-настоящему, что становилось дурно. Но потом явилась

избавительная пустота, благодаря которой Лешка постоянно пребывал в надежном туманном безразличии, как личинка в коконе. Он ощущал себя небесным спутником, нарезающего днем и ночью круги не ада, но вояжа вокруг Горного.

Помимо воли наблюдая оргии, он видел юные и зрелые двуногие особи внутри своих аур. У подавляющего большинства светящиеся оболочки были ливерного цвета и обтерханы, как бэушные молярные кисти. Часто Пианист замечал в толпах стекловидные скелеты без малейшего намека на ауру. Человеческие мощи пили, ели, танцевали, посещали сортир, отсчитывали деньги, крутили руль автомобиля, но были при этом совершенно мертвы.

Шестые сутки Лешка Лоханкин пребывал в безделии между небом и землей родного поселка, где прошла вся его малосознательная жизнь. До сих пор он частенько мечтал о дне абсолютного покоя, чтобы целые сутки валяться в кровати и наслаждаться ничегонеделанием и ничегонедуманием. И вот мечта сбылась. Но уже на второй день праздности Лоханкин понял, как это трудно – не иметь возможности даже ударить пальцем о палец или мозгой о мозг. Вместе с обязанностями он утратил возможность общения. И не было в его распоряжении книг.

Из удовольствий Лоханкину осталось одно – шариться по поселку, где можно и где нельзя. Он позволял себе кататься в любом понравившемся автомобиле. По своей прихоти он беспрепятственно прогуливался в разных гос. учреждениях, РЭСе, ЖЭКе, сберкассе. Никто не запрещал семикласснику заходить в бары, рестораны, магазины, склады, кочегарки, отделение милиции. В зону его доступа входили вентиляционные, канализационные, телефонные люки, а также трансформаторные будки, дымоходы и даже почтовые ящики. Без зазрения совести пацан подслушивал чужие разговоры, наблюдал семейные разборки и постельные сцены. В интернет-центре он усаживался прямо на стол, и хотя мышь не мог даже с места сдвинуть, но зато мог наблюдать за манипуляциями игрока, сидящего за его спиной. Однако жизнь такая ему быстро надоела, и он захандрил, испытывая настоящие танталовы муки.

С друзьями, как и со всем остальным обществом, отношения не складывались. Все попытки обратить на себя внимание членов лит-банды были безуспешными. Как Лоханкин ни скакал, ни елозил перед ними, никто ни разу даже не заподозрил о его присутствии. Настроение у всех было ниже плинтуса, и Лешка догадывался отчего.

Соня, приходя домой, ложилась на кровать и отворачивалась лицом к стене, заслонившись от быта светлым облаком волос. За дверью топтались и лопотали родители. Они просовывали свои пингвиньи шнобели в детскую, лупали пуговичными гляделками и жалобно попискивали: «Соня, деточка, идем кушать».

Киму Пианист просто не узнавал. Еще недавно она соблазнительно смеялась, когда кто-то из пацанов делал ей закидон, дергая за прекрасные косы. Теперь же бойкая девчонка лупцевала вертопрахов чохом, стоило им лишь подвернуться ей под руку.

Азура Пианист застал в обнимку с пузатым, как лохань, монитором. Семейство Азурашвили было в числе немногочисленных граждан городка, кто обладал персональным компом с пренастоящим безлимитным интернетом. Вместо того чтобы резвиться в инете или рубиться в Контр-Страйк Гоша с мученическим лицом малолетнего узника Саласпилса, листал парализованным взором закладки. Их внутренности были полны черной магии.

Заглянув к Макухину, Лоханкин нашел того в оцепенении на полу своей келейной комнатенки. Как Иов на пепелище, он торчал пнем среди кучи разноперых книг, шаров, пирамид, вееров, свечных огарков. По куцым хвостам фитилей можно было определить, как долго он сидит. Его богомазый фейс был худ, блед, словно мертв. За порогом слышалось жалкое старушечье шамканье, медленное шарканье тапок и журавлиное постукивание клюшкой.

В послеобеденное время друзья созванивались, тяжело выползали из своих конур и молча брели в больницу. По дороге заходили за Кимой. В ее доме не водилось

телефона, и пока Маг, отбиваясь от собаки, выуживал чемпионку из частного владения, трое остальных сидели под забором на лавочке, по-старушечьи подперев ладонями осунувшиеся мордашки.

Переступив порог реанимации, друзья останавливались у дверей. Дальше им продвигаться не разрешалось. Выстроившись в шеренгу, они глядели в гипсовое лицо Пианиста, хлопали мокрыми глазами, шмыгали красными носами и терли лица рукавами. Примерно через пять минут санитарка выдворяла их вон.

Ольга Ивановна в дезабилье и с флакончиком валерьянки металась в четырех стенах, как пантера в клетке. Потом хватала трубку телефона и крутила диск. Созвонившись с Кларой, уходила к ней на всю ночь. Утром, совершив над собой насилие, подрисовывала лицо, надевала бардовые сапожки и короткое черное пальто, так понравившиеся Лешке. Потом отправлялась к сыну в больницу, где встретившись с Моисеем Давидовичем, выслушивала его наставления.

– Ольга Ивановна, душенька, куда Вы подевали ваше хорошенькое личико? Наденьте улыбку... вот так. Мама моего пациента должны быть очаровательной и веселой. Я дико извиняюсь, но это входит в программу лечения.

Присаживаясь в палате у больничной лежанки, она осматривала выбеленное лицо своей кровинушки, из последних сил растягивала резиновую улыбку и гнала слезу. Лоханкин не мог переносить ее страдания, потухал и убирался прочь...

...Общение у Лешки получалось только с кошками, которые, завидев его, подбегали приласкаться, да еще с Металлистом. Тем самым медалистом, который за десять лет учебы получил целый пуд презреннейшего металла в виде медалей от преподавателей, грызущихся за его личное время и за свои личные премиальные. Свой недолгий век он посвятил беззаветному учению и участию в бесчисленных олимпиадах, конкурсах и состязаниях по всем, какие имелись в школе, предметам, кроме математики. Всегда он выходил победителем, и при этом каждый раз ему на шею вешали круглую железную бляху с дырой для шнурка. За это его и окрестили Металлистом. На доске почета он «висел» особняком в мещанском ворохе цветочков, благодарностей, отзывов, похвал и прочего плюмажа.

Главная награда Металлиста – золотая медаль – маячила перед его светлыми очами, как морковка перед носом осла. Но что-то не срослось, и прошлым летом перед самым выпускным он угодил в петлю так же нечаянно, как муха влипает в паутину...

Они стАкнулись в кондовом свете Млечного Пути в пик садомической вакханалии козлиц. Где-то внизу пузырился и смердел распад, их не могущий коснуться. Форсунки двух тонких тел выпалили радостными гейзерами. Парочка странствующих бедуинов, исчадивших на жаровне Сахары, свалилась без сил в песок напрямиком на водопроводные трубы. О, чудо спасительной влаги общения! О, святость случая, чья закономерность неисповедима!

Под недреманным взором Создателя в просторном садке плавала пара человеческих мальков. Медалист с Пианистом обнимались, как родные братья, хлопали друг друга по плечам, не замечая, что их ладони, рассекая несуществующую плоть, месили воздух. Они забыли, что сами есть лишь воздух, морок, пых.

Иногда их взгляды и улыбки, прорываясь из-за кордона эфемерности в каменную действительность, обретали реальные очертания. Друзья говорили, дивясь, собственному голосу и оглушая друг друга сладкой реальностью слов.

– Металлист!

– Пианист!

Невзирая на разницу в возрасте (аж целых четыре года!), мальчишки приятельствовали, так как частенько участвовали в общешкольных мероприятиях. Теперь, лишённые всего школьного и чего бы то ни было общего, предоставленные своему гордому одиночеству они были чертовски счастливы встрече.

– Рад видеть тебя, старик! А я смотрю, ты или не ты? Узнаю бобрик на твоей умной голове.

– Скажешь, бобрик! Прическа называется площадка, чтоб ты знал. Теперь удобно, не отрастает. А ты как был патлач, так и остался. Почему здесь? Надолго?

– Еще не знаю. Говорят, летаргический сон.

– Что так? Перетрудился?

– Вроде того. Читал... Много.

– И небось под одеялом? Знако-о-омая картина!

Металлист взорвался хохотом. Пианист, заразившись от него, принялся трястись мелким смешком. Вскоре они ржали в покатушку, хватаясь за животы.

– Как ты догадался?

– Тяжело не догадаться. Я и сам этой дурью баловался, читал запоем днем и ночью. Но предок меня быстро отвадил.

– Слышь, айда в нашу лит-банду! – выпалил Пианист и осекся, как от щелчка по носу, – Ах, да-а-а... Извини, братан...

Помолчали...

– Слышь, Металлист, а чё ты ушел?

– Да как-то достало все.

– Что – все?

– Да всё – уроки, олимпиады, факультативы. Этим взрослым вечно от меня было что-то надо. Некуда от них деваться. Но больше всего меня донимал рев и визг, который они устраивали. Куда ни пойдешь – все носятся, грызутся, орут. В магазине орет очередь, в школе – училка, в кафе – магнитофон, дома – батон. Телек включишь – по всем каналам стрельба. Во двор выйдешь – там бабки друг друга не по-детски мутузят. Пойдешь к врачу – больные, которые под дверью стоят, придушат тебя и скажут, что так и было. А тут еще, как назло, математичка вlepила мне итоговую четверку. В математике-то я всегда был не особо силен. Папенька так орал, что децибелы мне весь мозг вышибли.

– Не бил?

– Не-а.

– А меня мамуля лупит, – хохотнул Пианист, – Немного обидно, но зато совсем не больно.

– Повезло тебе. Лучше бы меня лупили, чем ругали. Ругательства больнее всякой боли.

Задумались...

– Слышь, Пианист, ты о чем мечтаешь?

– Хочу путешествовать и книжки читать.

– Красиво жить не запретишь! А когда все книжки прочтешь, всю Землю вдоль и поперек прочтешь, тогда что делать будешь?

– Тогда сам начну писать – о морях и горах, о джунглях и прериях, о пещерах и городах... Всю живность, какая в них водится, в том числе и людей, опишу самыми яркими красками, чтобы читатели радовались. А ты? Чего бы ты хотел?

– Рисовать, жить на необитаемом острове посреди океана. Знаешь, такие острова на картинках изображают – пупырышек земли с пальмой в самом его центре.

– Странно, все мечтают о сотовом телефоне и компе с интернетом.

– А мы с тобой, получается, не все... Уроды, одним словом...

– Ты расстроился из-за той четверки?

– Я – нет, а вот папа... Кричал, за сердце хватался, когда я сказал, что в художку пойду. Мама плакала. Они-то хотели меня на банкира сдать. Только это совсем неприкольно. Вот я и...

Лоханкину тут же нарисовалась картинка. Сидит на цепи лохматый барбос. Лицо у него Металлисто, а все остальное – пёсье. Перед ним навалена цвета детской

неожиданности внушительная куча монет, которую он охраняет. Собака, то бишь, Металлист, грустит, скулит и порывается удрать, но цепь не пускает. Семиклассник возмутился.

– Пусть бы сам попробовал всю жизнь чужие деньги считать. От скуки сдохнуть можно. Надо было тебе немножко потерпеть. Получил бы аттестат и – адьо! Эх ты-и-и...

– Хорошо, что у тебя нет такого отца.

– Не знаю, хорошо ли...

При этих словах Лоханкин живо вспомнил фотографию девять на шестнадцать в черепаховой рамке, которая, сколько он себя помнил, стояла на фо-но. На ней – отец, такой же взъерошенный и конопатый, как и Лешка. Родитель пропал без вести в то время, когда мальчик находился на первом семестре своего эмбрионального развития. Поездка перед самой свадьбой в Москву за длинным рублем оказалась для талантливого пианиста последней гастролью в жизни. В результате невеста обрела унижительный статус матери-одиночки, а младенец родился в неполной семье со всеми вытекающими отсюда последствиями. Алексея посетила мысль, что такой вредный отец, как у Металлиста, лучше, чем отсутствие отца вообще. Чтобы подбодрить друга, он сказал.

– Зато ты теперь свободен и можешь летать, как птица в небе.

– Ага... Как фанера над Парижем. Дальше своего дома я не могу отлучаться. Ведь я теперь – призрак, полтергейст. И как там еще?

– Домовой.

– Во-во, именно так. От дома теперь – никуда. Да мы-то и встретились с тобой только потому, что ты пролетал мимо. Хорошо, что у нас собственный дом. Могу расхаживать, где хочу. А то соседи...

Время подкрадывалось к концу пятого часа. Герои ночного разгула забились в норы. Горный притих, как оттемпературившийся гриппозник. И тут со всех сторон нестройно и глухо, под сурдинку запертых курятников, заверещали петухи...

К Лешке приходили разрозненные мысли, рисующие в его воображении разнообразные картинки. Те, в свою очередь, оживали и приходили в движение. Наблюдая собственный параллакс, юный гуманитарий как бы сидел в зрительном зале и смотрел на экран, где он представлял столетним карагачом, в необъятной кроне которого клубилась лесная жизнь. Потом кадр менялся, и вот он – голый дюймовый червь, в морщинке того самого карагача, нагло грызущий плоть великана. Он и палый лист, и новорожденный побег одновременно. Он – мощные корневые насосы, непрерывно закачивающие сок в торс гиганта, и он же его крошечное семя – невесомая прозрачная крылатка с геномом. Пианист понимал, что противоположности являются обязательной программой его естества, и вкуче они составляют наполнение того, чем является он – Алексей Лоханкин.

Он – гипотеза, бездоказательная теорема, и он же – лемма, аксиома аксиом всего земного и неземного. В один и тот же миг он находил себя в блистающем зените и провальном надире. Солнце и луна, вода и огонь, день и ночь, небо и земля явились вдруг для него понятиями и антагонистическими, и безраздельно родственными, основополагающими.

Внутри подростка горным кряжем росла самость. Пианист, словно фрукт, неторопливо зрел. Как в любом музыкальном произведении, в нем шла подготовка к движению во времени. Все знаки акупунктуры уже были расставлены, все точки над «и» начертаны. Еще немного и звуки брызнут из-под пальцев дирижера. Здоровый питательный сок, переполненный животворными энзимами, потечет по кровеносным

каналам, мозжечку, клеткам отчужденного организма, который Пианист не переставал ощущать ни на миг.

Он предчувствовал, что его история с летаргическим сном и круглосуточными метаниями по поселку не просто так свалилась ему на голову. Он знал также, что неуклонно приближается к рубежу, за которым рано или поздно, вступив в прежнее физическое существование, уже никогда не будет прежним. Совершенно необоснованно, вопреки всеобщему ожиданию апокалипсиса к Алексею пришла уверенность в завтрашнем дне.

Минуя кишачие нечистью пандемониумы, что локализовались в сточных ямах, подворотнях, заброшенных домах, подвальных провалах и зияющих канализационных дырах, Пианист замечал рядом с собою мелькание белесой тени. Он догадался, что это не кто иной, как его ангел-хранитель. Но чаще он обнаруживал своего хранителя в собственном уме, где уже давно прижился бес.

Эти двое время от времени спорили из-за Пианиста. Спор их был вполне миролюбивым и подчеркнуто уважительным. Хранитель доказывал губителю, что Леша – хороший мальчик, любящий сын, одаренный ребенок. В том, что с ним произошла ужасная история, – вина взрослых, успевших за период перестройки морально упасть ниже плинтуса. Губитель же с ядовитым смешком ему возражал, заявляя, что на пацане клейма негде ставить. Он утверждал, что Лоханкин строптивец, лентяй, обжора и практикующий онанист.

– Послушайте, – кипятился хранитель, – неужели Вы всерьез считаете мальчугана сложившейся и не поддающейся изменению личностью? Ведь ему всего ничего, тринадцать лет. Формирование его мировоззрения подвержено множественным внешним факторам. Наряду с домашним развитием ребенка существует превалирующее общественное влияние, которое, собственно, и взращивает человеческую личность. Любой предмет или явление выдается в произвольной трактовке кого угодно – родителей, воспитателей, правительственных лиц и прочих умников. Так как познать суть вещей, согласно выведенному Кантом термину «вещь в себе», не дано никому, кроме Отца, разумеется, то взрослые истолковывают все, что им вздумается и как заблагорассудится. Их измышления преподносятся воспитанникам в виде неоспоримой истины. Зачастую черное выдается за белое, и наоборот. В результате духовное начало людей, продиктованное практицизмом, эгоизмом, извращенными догмами и лживыми идеалами, имеет темную основу. Подрастающее поколение воспитывают не базис и надстройка, как вы утверждаете, а любовь. Да-да, любовь! В последнее время ее стало так мало. Душа, особенно детская, хрупка, она страдает от грубых вторжений. Тут еще Вы со своими рогами и копытами без малейшего смущения вламываетесь в нее, как в хлев.

– Коллега, – с кошачьим мурлыканьем возражал губитель, – и я рассуждал подобным образом до своего отречения. Тогда, помнится мне, мы были с Вами братьями. Хотя, почему были? Кровное родство еще никто не отменял. Поэтому, хотите или нет, в Вас есть часть меня, а во мне – часть Вас. Как бы Ваши подопечные обретали прочность, которую Отец так от них ждет, если б не было меня? Я и только я не позволяю человеческим экземплярам закиснуть без движения и работы над собой. Иначе их души завоняли бы, как стоячее болото. Если бы я, перекусившись, не стал тем, что есть, то Отцу пришлось бы меня создать. Признайтесь, что Он при своем молчаливом согласии допустил мое противостояние. А что до Канта, так разве не он утверждает в «Критике чистого разума», что человек уже при рождении обладает моральным кодексом? Почему же очень немногие спешат им воспользоваться и поступать правильно?..

Пианист припомнил, как однажды ему попала в руки «Критика чистого разума» философа Иммануила Канта. Ее он из любопытства полистал и понял только то, что ничегошеньки не понял. Теперь же он слушал собственные мысли, как радиоспектакль,

с твердым убеждением, что его ум существует сам по себе и в нем, Лешке Лоханкине, нуждается так же, как собака в пятой ноге...

Внизу, словно из темного сула, выпучивалась невзрачная архитектура Горного. Вдруг, где-то, предположительно в Лешкином микрорайоне, вспыхнуло зарево, весело осветив окружающие дома. Сперва оно было едва заметно, но уже через минуту пышно разрослось и принялось брызгать в небо искрами. Иногда в Горном по ночам занимались костерки. Бомжи зачем-то поджигали мусорники – то ли грелись, то ли воевали за сферы влияния. Лоханкин включил третью скорость и поспешил к источнику возгорания.

Удивлению его не было предела, когда в собственном дворе в свете огня возле горки кирпичей он увидел мать. Она была в бардовых сапожках и коротком черном пальто, в которых теперь ходила постоянно. Схватив самый верхний шамот, она принялась с остервенением кромсать его в клочья. Тогда Лешка догадался, что в куче лежат книги. Лоханкина их шмонала, вся напрягшись и сжав губы с такой силой, что они завернулись внутрь, обезобразив лицо жабьей ротовой щелью.

Высококачественные твердые переплеты не хотели сдаваться. Особо упорствующих Ольга Ивановна придавливала сапожком, хватала за обе половинки обложки, точно крылья голубя, и безжалостно их отдирала. Ей приходилось прикладывать изрядные усилия, чтобы расчленивать плотные бумажные бруски. Книги умирали с треском картона и визгом колленкора. Печатное их нутро вываливалось наружу. Его тут же ловили цепкие женские руки, потрошили и швыряли в костер. Огонь возбуждался, требовал пищи все больше и больше, полнел, набирался объема, ярости и богоподобной мощи.

К кострищу подползали вездесущие бомжи, бродячие псы и любопытные кошки. Они рассаживались кружком, поближе к теплу и, не обращая внимания на бесчинствующую весталку, зачарованно глядели в огонь. Из тьмы несколько раз выныривала, как призрак, верная Клара с книжными стопками в руках. Она молча сбрасывала их в общую кучу и заныривала обратно в темноту...

...Когда на голову Ольге Ивановне внезапно свалился Тото Кутуньо, многократно потревоженный Лешкой и оттого висевшего на одной сопле, она заподозрила неладное. И точно. Ее тайная библиотека оказалась не просто тронутой, а перевернутой сверху до низу. Дикими глазами смотрела Ольга Ивановна на свою литературную кладовую, и ужас кладбищенской плитой расплющивал ее внезапно прояснившееся сознание. Одной рукой схватившись за сердце, другой – за стремянку, она стояла так несколько минут, как пригвожденная к кресту. Спустившись на твердый пол и напившись валерьянки, несчастная мать принялась звонить подруге. Сообща было принято твердое решение книгохранилище уничтожить.

Лоханкина получила образование библиотекаря, наисвятейшая обязанность которого заключается в хранении книг. Казалось, бережное отношение к печатному слову было развито в ней еще в зародыше. Загнутые углы или жирные пятна на страницах она воспринимала, как преступный вандализм, не говоря уже о более серьезных повреждениях. Книжные травмы Ольга Ивановна, преданная библиотечному делу, переносила болезненно, словно то были ее собственные раны. Пострадавшие от нерадивых читателей тома она сразу же бросалась лечить – подклеивать, разглаживать, чистить теркой, обновлять обложку и пр. Все это она проделывала с тщанием и усердием, как будто дело касалось не паршивых женских романчиков, зачитанных невзыскательными абонентами в прах, а мастодонтов, заслуживающих восхищения, таких как «Война и мир» или «Тихий Дон». Хотя последние в починке не нуждались. На них никто даже не смотрел.

Лешка, который привык к материному трепету перед книгами, никак не мог поверить собственным глазам. И хотя зрение его с момента телесного преобразования оставалось прежним, он думал, что эта нервная особа только похожа на его мать, но ею

на самом деле не является. Не могла она так безжалостно рвать новенькие тома, а тем более жечь их в огне.

Разглядывая даму и так и эдак, Пианист убедился, что перед ним его дорогая мамочка, и она совершает то, что в ее же понятии является преступлением – уничтожением литературного наследия. Вместе с узнаванием родного лица пришло внезапное озарение. Леша понял, насколько мама ценит его, своего сына, превыше всякого литературного наследия, если решила покончить с тем, что портит ее ребенку жизнь. Он подумал: «Может это вовсе никакое не наследие, раз мамуля так безжалостно с ним расправляется?»

Пианиста осенило: для матери он – самая важная часть ее жизни. Хотя раньше он считал, что произведения великих писателей, как ни крути, важнее. Перед ними матушка преклонялась, словно жрица перед стопами Осириса. Она так прямо и говорила, указуя рукой на сервант, забитый классиками: «Вот они – божественные творения гениев, истина и сердцевина жизни».

Сейчас Лоханкин понял, что сердцевина жизни его родительницы – он сам. Было очевидно, насколько она несчастна без своей сердцевины. За какие-то шесть дней в ее внешности произошли печальные изменения. Из ворота, ставшего не по размеру широким, торчала тонкая шейка. Личико истаяло и выглядело до предела изможденным. Глаза были потеряны, скулы натянуты, нос заострен и прозрачен, как восковая свеча. Юркие ямочки на щеках исчезли, их место заняли два коротких статичных морщинистых шрама. На исхудалой фигуре короткое черное пальто неэстетично обвисло, под ним топорщились коленки, в голенищах бардовых сапожек образовались пустоты.

Леша ощутил абсолютно физически, как сжалось у него сердце. Он в который раз заплакал, бросился к маме, надеясь, что если она его не видит, то, возможно, почувствует сыновнее присутствие. Ольга Ивановна на минуту замерла с макулатурой в руках, оглянулась по сторонам, вздохнула и продолжила свой антисоциальный труд.

Прибыла Клара с последней порцией жратвы для костра и с кухонным ножом. Работа зашумела, все зашевелилось, заерзало. С оперативностью секьюрити девушка раскраивала толстые тома и подбрасывала половинки бомзам. Те, не задавая вопросов, с удовольствием общипывали их, как резаных кур. Огонь мгновенно проглатывал наполовину пережеванную пищу.

Пианист вознесся и смотрел на совершаемое кощунство сверху и немного со стороны, заняв позицию где-то на уровне пятого этажа. Все копошащиеся внизу в совокупности – вонючие бродяги, умная Клара, бедная мать, шныряющие собаки, внимательные коты – походили на клан умалишенных нибелунгов, уничтожающих в огне свои сокровища...

С литературным наследием было покончено. Без подпитки костер быстро потух, и бесновавшееся вокруг него сходбище разбрелось во все четыре стороны. Коты отошли ко сну, собаки помчали к воротам рынка и дверям ресторанов, бомжи уползли в щели, Клара отправилась в свою живописную квартиру – строчить очередную статью, Лоханкина с портфелем в руках побрела в больницу.

Рассвет наступил в семь тридцать. На сепии неба, засвеченной по линии горизонта, четко пропечатались дымчатые горы, восстающие из умбры земли. Пианист, озираясь, засвидетельствовал вокруг сыромятную синель бесхозных полей, строго выдержанную в коричневых тонах. Выше гор весь купол неба был заволочен непрозрачной жижей, в которой плавал белесый балут луны. Час спустя скобяное солнце, пошевеливая ржавым лучом, стало со скрипом выбираться из темного чулана ночи в чахлый зимний денек. До конца света оставалось пятнадцать с половиной часов...

...Сидя у больничной кровати, Ольга Ивановна держала пухлую, совсем не музыкальную пятерню сына в своих холодных ладонях. Электрический свет беспристрастно освещал женскую неприглядность. Помада была съедена, тушь с ресниц осыпалась, тонак и румяна облиняли. Теперь, когда лица сына и матери стали одинаково бледны, в них появилось сходство.

Ольга Ивановна что-то лепетала, прикладываясь скорбными губами к обездвиженным пальцам. Лешка прислушался. Он различил слова молитвы и покаяния. Мать говорила, вглядываясь в зажмуренные буркалы толстяка, который в некоторой степени имел отношение к нему, Пианисту. Этот мучной червь, налившийся белым цветом и оттого, казалось, еще больше раздувшийся, и ухом не ведет. Как будто к пустому месту обращаются. Родительница распинается перед ним, говорит, как сильно его любит, просит прощения за то, что ругала, наказывала, лупила иногда. Не со зла, конечно, а для воспитания сознательности. А этому чурбану хоть бы что. Дрыхнет себе спокойно без задних ног. Лешка ненавидел и готов был придушить сам себя. Раз уж плачут по нему, так пусть хоть не напрасно.

Он смотрел, как мать оставила в покое безжизненную конечность и, наклонясь к стоящему на полу портфелю, вынула здоровенную книжищу, экстерьером смахивающую на ту... ту самую. Он почувствовал как сердце упало, а волосы на голове встали. Он смотрел во все свои стопроцентно зрячие глаза на подозрительную книгу, и все его нутро противилось ей. «Нет! Только не это! Мама, не надо!..» – захлебывалось воплем его сознание. Неопишуемый страх отшвырнул его прочь, в дальний угол потолка.

Ольга Ивановна провела ладонью по шагреню, словно стирая пыль, и раскрыв книгу на закладке, стала негромко читать вслух подвывихнутым, выпадающим из интонационных пазов, больным голосом. С первых же слов Пианист понял, что в руках у нее библия. Он быстро успокоился и опустил вниз.

– Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает...

Лоханкин смотрел на молитвенницу. Она, не поднимая глаз от писания, обращалась сквозь слезы к Богу, как будто Он был величайший профессор медицины и семейный психолог по совместительству.

– Господи, исцели моего мальчика. Спаси его, а вместе с ним и меня, потому что без него нет мне жизни. Разве зря я его растила в вечной нужде, не доедала, не досыпала, лечила, учила, воспитывала изо всех сил? Больше всего на свете я люблю своего сыночка, и вся жизнь моя – ради него.

Лешка смотрел на плачущую матушку, слушал тихие причитания и всхлипы. И вдруг ему показалось, что ее слезы и жалобный болезненный голос – это вовсе не тяжкие вериги страдания. Что это – расчудесные краски верховного художника, живописующего все сущее; что в этой картине есть и для него местечко.

Вдруг он обнаружил себя светящейся каплей звездной млечности. Потом – виноградной улиткой, прилепившейся к молодому кусту. Из куста картечью выстрелило семейство воробышек, и один из них – это Лешка видел отчетливо – был его точной копией. Он находил себя повсюду – в ослепляющем солнечном блике, во взболтанной дождевой луже, в струйке парного ветерка, в цветочной пыльце на лапках пчелы...

Картина жила, каждое мгновение меняя цвета и сюжеты. Любая мелочь была напоена таинственным смыслом. Так горькие травы, заговоренные ведуньей, бродят соком целебной силы, чтобы просочиться наружу в назначенный срок.

Все было важным и крайне необходимым для взращивания мира. Фортепианная партия, падающая с пюпитра; подснежник, поднимающий голову от проталины;

строительный кран, набывчившийся на свой груз; невесомый парашютик, покидающий лысину перезрелого одувана; клубы желтых полозов в одичавших крымских степях; водопады, реки и речушки по всему свету перешептывающиеся между собой, как заговорщики; выпуклые линзы морей и океанов, глядящие внутрь себя; каменная короста на теле планеты, называемая городами; трубы водопроводов и доменных печей; лабиринты пещер и подземок; атмосфера земного шара и его магма; горы в шубах лесов и шапках льда; все книги, наработанные умом человечества; мозг шимпанзе как экспонат для изучения происхождения людей; погребенные в слоях веков осколки цивилизаций; разоренные гробницы божественных фараонов; ядро первородного зерна; монада человека; ответственный бенициарный служащий с папкой; безответственный подросток с сигаретой в зубах; священный дух Сиона в молитвенных домах; угарный дух похмельного синдрома; сытые стада молочных буренок; стройные стада оловянных солдатиков, марширующих на войну; пленки трехкилограммового младенца; туманная пелена осенних рассветов; вожди слепцов; слепой музыкант; сады и виноградники; пшеничные поля и цветочные луга; мудрый болид, огибающий Землю; земельный кодекс; гнезда галактик в божественной безмерности; гнезда пернатых в хлорофилловом раю...

Картина жизни была для Лешки столь ощутима, словно она брала художественный материал из нейронного электричества и клеточного гидролиза его собственной плоти. Теперь он не считал себя гражданином пустоты. Вся внутренность была переполнена божественной влагой мироощущения. Муки последних дней выпарились из него и незримым облачком полетели в вышние сферы, в личную Лешкину ячейку космической матрицы. Оттуда же, сверху, ему помахал крыльями хранитель. Пианист тоже помахал в ответ радостно, изо всех сил, и, споткнувшись о камень у входа в тоннель, шагнул внутрь.

За его спиной в круглом проеме серел будничный свет. Под ногами желтела дорожка из ракушечника. Заросли вдоль стен ударили в голову можжевелевым дурманом. Навстречу с хлопаньем, мельканием и жужжанием летели птицы, бабочки, жуки. В конце коридора крошечной светящейся лампочкой манил некий объект. Он, по мере приближения к нему, постепенно рос и приобретал смутные очертания. Что это такое, Лешка не знал. Но что без этого самого, неизвестно чего, его существование будет невозможно – знал точно. Это убеждение пришло к Пианисту, как удар грома среди ясного неба. Крышу у него снесло, сердце запрыгало, со всех ног он рванул вперед.

Несмотря на лишний вес, семиклассник бежал изо всех сил. Пот заливал ему глаза так, что светящийся объект виделся расплывчато. Лешка мчал к нему безостановочно, но было еще достаточно далеко до финиша. Коридор казался бесконечным, а цель недостижимой. Уже задыхаясь, выбившись из сил, всем телом трясясь от усталости, парнишка продолжал бежать. Ноги заплетались, сердце трепыхалось, как воробей, в голове гремел бой наковальни, что-то булькало в горле. Еще немного. Пятьдесят метров... Сорок... Тридцать... Двадцать... Десять. Мысль прошила пулеметной очередью: «Все... конец... умираю... Ма-а-а-ма-а-а!..» Пианист закрыл глаза и рухнул за пару метров до цели. В эту секунду в его мозге раздался щелчок тумблера...

... – Он открыл глаза-а-а! Он просну-у-улся-а-а! – кричала Ольга Ивановна своим голосом, летя по больничному коридору со скоростью торпеды. Уже через три секунды весь медперсонал во главе с Моисеем Давидовичем неся в реанимационную.

Пианист увидел людей в белом, обступивших его со всех сторон в тревожном молчании, плачущую мамулю у изголовья, бегло ощупал и осмотрел себя, прислушался к урчащему животу и вспомнил, что давненько ничего не едал. И хотя он знал, что мама категорически против неправильного питания, сказал:

– Ма, можно мне немного чипсов?

Реанимационная взорвалась счастливыми воплями, смехом и рыданиями. Разносчица метнулась в кухню. Ольга Ивановна схватила в охапку свое чадо, поливая его усилившимся потоком слез. Все бросились друг друга обнимать, целовать, и поздравлять с победой над недугом, не обращая на Лешку, задавленного объятиями матери, никакого внимания. Громче всех шумел Моисей Давидович:

– Сейчас же, сию секунду всех приглашаю ко мне в кабинет! Такое событие необходимо отметить!

«Какое такое событие? – думал Пианист, сидя на кровати. С удовольствием еще большим, чем от чипсов, он глотал куриный бульон из сиротской больничной чашки и болтал ногами, – Конец света, я так понимаю, отменяется».

Все совпадения – случайность.

1 июня 2016г.